# СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

5

ПАРИЖ

1979

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

The League of Supporters : Ю. Вишневская, И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер, А. Пятигорский

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции

© SYNTAXIS 1979

Адрес редакции :

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

*...Сложен и труден переход из одного мира в другой — от тюрьмы к свободе, из диктатуры в демократию. Иногда этот переход сопровождается своего рода шоком и требует от человека серьезной внутренней перестройки. Новые понятия и впечатления сталкиваются с реликтами будто бы уже отошедшей в невозвратное прошлое жизни. Свобода, выясняется, налагает на человека ответственность, психологически порою более тяжелую, нежели обязанности раба. И вместе с тем это «переходное» состояние и ситуация «за границей» («за границей» в широком смысле слова — привычного жизненного опыта и уклада) в плане индивидуальном и общественном оказывается подчас интереснее застывших рамок и навыков. Этой социально-психологической проблеме «перехода» и посвящен в значительной мере настоящий номер журнала «Синтаксис».*

## Современные проблемы

**Эдуард Кузнецов**

### ХЭППИ ЭНД

За несколько дней до того написал: «Я недостаточно легковесен для шалуньи Фортуны — таким она не улыбается». Не без гордости, не без горечи. «Вдруг» я не люблю и не верю ему, «вдруг» — это когда не знаешь, как на самом деле копится подспудно песчинка к песчинке, чтобы однажды утром гора — вдруг! А если и ураганом ее намело, то ведь и ураган, и то, что именно здесь ее вздыбило, — тоже не вдруг. Не отрицая возможность чуда как такового, я в то же время не считаю себя настолько важной персоной (ни вертопрахом, ни калекой), чтобы претендовать на особую опеку Небес. Но 27-го апреля меня так и подмывало если не выкрикнуть, то хотя бы прошептать это претенциозно-утешительное словцо: чудо. Из тьмы — в свет, из смрада — в сад, из загробья — в жизнь Чудо! Но не выкрикивалось, не вышептывалось, задушенное, замороженное логикой: закономер-

---

27 апреля 1979 г. Эдуард Кузнецов неожиданно был освобожден досрочно

ное совпадение ряда объективных факторов, политическая конъюнктура — с известным допуском на случай...

Чтобы однажды грянуло для меня 27-е апреля, многие тысячи людей сделали столько-то тысяч шагов — ни на один меньше, они проделали этот путь, и ни один шаг не был настолько мал, чтобы без него был возможен конечный результат. и ни один шаг не был столь велик, чтобы обойтись без других шагов. При чем, казалось бы, тут чудо? Но многотысячный митинг в Нью-Йорке, но неподдельный энтузиазм израильтян, рукопожатия на улицах, объятья, смех и слезы старика-прохожего с кошелкой, в которой хлеб и помидоры, но многолюдные митинги по всей Европе... Вопросы, вопросы, вопросы — не праздное любопытство, а глубинный, из самого сердца интерес, сочувствие, сопереживание... Надо было, чтобы многие тысячи сделали бесчисленное множество шагов... Но почему они их сделали? Что их, таких разных, объединило и подвигло? Не сомневаюсь, что дотошному уму доступно и это объяснение. Дотошность — штука нужная, но перед этими лицами дотошность отдает скучным кощунством. Я затыкаю уши и уверенно говорю: сострадание, сопереживание, жертвенность ради дальнего, действенная солидарность — истинное чудо. Не то, что удалось почти невозможное недавно — вырвать из неразъемных драконьих челюстей недожеванную жертву, а то, что разбросанные в ледяном море мещанского всеравнодушия, близорукости и ожирения теплые островки человечности однажды способны, противостоя дракону, слиться в мощный материк.

25.4.79 г.

«Ни дня без клеветы!» — негласный лозунг нашей камеры. В том извращенном мире многое, начиная с Гегеля, перевернуто с ног на голову, и всякое слово оценивается не по шкале соответствия его реальности, а по хитроумной партийной таблице вредоносности его густому облаку лжи, окутывающему всю необъятную эсэсэсэрию. Не так ретивые начальнички простукивают стены-решетки-двери, как на всякую бумажку тигром кидаются: не столько побег их страшит, сколько утечка «клеветнической» информации — несмотря на все запоры, несмотря на все заборы...

В то утро, 25-го апреля, шлифовался окончательный текст «Заявления о положении верующих в лагерях и тюрьмах». Как-то не очень ладилось — от недосыпа: с работы пришли в два ночи, а в шесть уже не до сна — проверка, оловянное бряцанье одаряющего пшенкой черпака, коридорный шум-тарарам... и мертвый вскинется. В камере нас было только двое — все остальные на работе. Он прикрывал спиной «волчок», сторожко прислушиваясь к коридорной жизни, а я, залепив воском уши, писал и зачеркивал, писал и зачеркивал...

— Давай припрячем пока, — он меня тревожно за плечо. — Что-то не нравится мне: забе́гали, засуетились и стихло все вдруг. Не шмон ли генеральный?..

Только успели — смаху распахнулась, лязгнув, дверь. Ухватив с тумбочки какой-то журнальчик, я прикинулся увлеченно читающим. Входят, почти полубегом — сперва два надзирателя с угодливой стремительностью, за ними кэгэбист-

ский подполковник Романов и Тюрин — капитан из той же фирмы, и майор Некрасов — наш «хозяин», и опер из Управления, и еще какие-то чины в погонах и без.

— Что читаем? — хозяйски тянет руку Романов (не крамола ли?).

Только тут вижу, что схватил «Сельское хозяйство» — с фотографии мудро-печально таращится могучая корова из статьи об американском животноводстве.

— Ай да корова! — прицокивает из-за плеча начальника пройдоха Тюрин. — Ярославская, небось?

— Ну уж, — смеюсь как можно беззаботней, прикидывая, какого черта они приперлись. — Это же американская. Ужели сразу не видать? У нее даже и морда раз в пять умней колхозной — про бюст я уж молчу...

Романов хмурится.

— Все балагуришь, Кузнецов... С вещами! И поживей.

Куда, зачем? — вопрос хоть и пустой, а не спросить нельзя. Молчат, конечно, и только поторапливают. Ну да мне ведь спешить некуда — срок все равно идет, а раз им так невтерпеж, то мой прямой арестантский долг «тянуть резину» — и досадить хотя бы малость, и с мыслишками собраться, и, глядишь, в запальчивой досаде сболтнут чего-нибудь. Но чтобы и грань незримую не перейти — на карцер не напороться... Арестантская наука — тонкая, вся на полувзглядах, мелочах, намеках, на ножевом балансировании, особенно если что-то стóящее тайком делаешь, план некий в ночи вынашиваешь... Будь

стражи поумнее, просекали бы : раз тих и покладист всегдашний непреклон — замыслил что-то. а если нос кверху и шапки не ломит, значит, смекай, скрывать ему нечего, удара хукового не вынашивает, потому и грудь колесом и глаза дерзкие — хоть так повоевать, гонор показать, даже и с риском угодить в карцер : не сломали, дескать, не раб я вам, хоть тресните... Тоже дело немалое, если нет на другое ни сил, ни сноровки

Собираюсь помаленьку, с другом нет-нет словцом перекинусь.

Шесть лет назад мне с трудом удалось отбиться от нового срока за книгу, а тут вторая, знаю, вот-вот должна выйти, и внутренне я был готов к следствию и суду. Знал, на что шел, решив : буду делать, что до́лжно, а прочее — будь как будет Но своих предупредил : если следствие, то с первого дня бескомпромиссно голодаю и на все вопросы — хоть о чем ! — ответ один : « Будьте вы прокляты ! » Однако нельзя исключать и более радужного исхода — уж больно оптимистичны намеки в последних письмах. Хотя не первый ведь год, обычно весной, что ни письмо, то « Держись, еще чуть-чуть.. » Так что вряд ли Лучше не думать.

— Всем нашим, — говорю, — привет

— Не разговаривать !

— А я и не разговариваю. Привет вот передаю Нельзя что ли ? Да, если хреново, — скороговоркой другу, — так ты знаешь — поддержите в меру сил...

Браво-плакатный Романов рассердился не на шутку :

— Ведите его в кабинет — там обыщете

— А если в большую зону, — это друг мне, — так не забывай...

Мельком скольжу по бритым, сытым лицам, выщупываю взглядом — не дрогнут ли? Не разберешь. И все же что-то невсегдашнее почудилось, кольнуло сердце: 16 лет, браток... И на том свете ни вас, ни их не забуду.

Увели, не дав прощально расцеловаться. Четыре часа каждую нитку теребили, всякую бумажку обнюхивали...

— А что же однодельцы мои? — зондирую. Молчат и усмехаются невнятно. Так все-таки куда меня: судить или, может, и вправду на свободу? Лучше не думать — выбора ведь все равно не дано. Не ты решаешь, уговариваю себя, не суетись — куда повезут, туда и повезут, это их забота, а твоя — не паниковать.

В коридоре ни души, все камеры на замке, у цеховых дверей бдительный надзиратель, только в пыльных окнах маячат белесые пятна лиц — не пойму чьих. Уже перед зевом обитого железом воронка делаю еще одну безнадежную попытку:

— Закон, — говорю, — хоть и не про вас писан, но все же вы обязаны объявить мне цель и конечный пункт этапирования. Нацистские у вас приемчики — «Мрак и туман»...

— А я тебе, — капитан Тюрин доверительным полушепотком, — вообще рекомендую поменьше выступать. Не хватит ли с тебя? Живи тихо — тебе же лучше. Как мафиози говорят: кто глух и нем, к тому же слеп, тот проживет до сотни лет. Учти, на Западе ведь тоже умирают, и бывает — чаще, чем здесь.

Угрозу я пропускаю мимо ушей — не впервой,

— но *Запад*?! Как это понимать? Чекист порой и правду скажет, не веришь. Почти утверждаюсь в мысли, что на этот раз меня поджидает какая-то чрезвычайная пакость. Но в боксике (колени холодит дверь, спину и плечи — стены), в сумеречной тьме — две узкие полоски света в щелку. Изогнувшись, вывернувшись винтом, приникаю и вижу: Гинзбурга ведут к другому воронку, а к третьему — минуту спустя — Мороза. Ничего не понимаю! Ну, если меня влекут на расправу — это ясно, а их тогда зачем? Один в зоне без году неделя, насолить им еще не шибко успел, а другой и вовсе тихо-смирно сидел. Это, конечно, не довод — мало ли к чему могут прицепиться... Но вроде бы не те нынче времена. А вдруг времена изменились, а мы и не знаем? Откуда нам знать? Вот и газет уже три дня как не давали, и радио молчит — сломалось, говорят...

В Потьме за нашей посадкой наблюдали человек пятнадцать разнопогонного начальства и бравый Романов с ними. По одному из воронка, по одному в «столыпин» — а он пустой, оказывается, специально для нас троих прицепили. Всяко у меня до того бывало: без «спецкараула» меня не возили, всегда отдельно от других, которых конвоиры ногами в зарешеченное купе заталкивают — по дюжине в «тройник», — и в мягком пассажирском мне случалось ездить, хоть и в наручниках, и даже с собаками меня возили, так что весь «столыпин» сочувственно кричал: «Прощай, земляк! Не дрейфь!» — думали, что на расстрел... По-всякому бывало, но чтобы вагон на троих — впервой.

К караульному не подступись — словно и не

слышит, а спрашиваю громче — вздрагивает и оглядывается опасливо.

Часа через два заступает новый караульный. «В какую хоть сторону-то едем?» Молчит, но глаз не отводит, словно гипнотизирует, и от решетки купе ни на шаг. Не очень-то уютно. Валюсь на скамейку ногами к нему.

— Не положено! — кричит, и в глазах испуг плещется. — Головой ко мне!

А там фонарный свет слепит, и противно, когда спящему тебе в лицо глядят. Мне бы поспать хоть малость: раз такая спешка, что-то серьезное предстоит завтра, а я и в ту ночь не добрал — руки-ноги не шевелятся, в голове кавардак.

— Головой туда я не засну.

— Не положено! — чуть не плачет. — А то я начальника караула позову.

— Зови хоть трех, — уже завелся я, — плевать я на вас хотел. Ну, повернете вы меня силой в ту сторону, а я опять сюда развернусь...

Прыщавый блин его пошел пятнами растерянности — похоже, что инструктирован не грубить, мнется, не знает, что делать, наконец, махнув рукой — была не была! — убегает и тут же возвращается вместе с каким-то лейтенантиком.

— Вообще-то не положено, — мямлит тот. Ему явно неуютно — он привык рычать матерно на тех, кто за решеткой. — Инструкция... Но, — разрешающе машет он рукой, видя, что я лежу. не шелохнувшись, — ничего — отдыхайте.

Солдатик смущен, я начинаю проваливаться в сон, сладостно убежденный, что завтра я буду на свободе, только бы, думаю, дали в Москве хоть деньков несколько пожить — с друзьями

проститься, по улицам побродить, где родился и рос... И беспокойно верчусь с боку на бок, гоня прочь циничную усмешку румянощекого Романова. И двух недель не прошло, как он откровенничал: «Таких отпускать?.. Мы не настолько слабы. Сколько бы *там* ни кричали — именно *мы* сажаем и *мы* отпускаем... когда убедимся, что враг сломлен и разоружился до конца. А ты, не бережешь ты себя, не бережешь... Или думаешь, заговорен от смерти?»

26.4.79 г.

Утром конвойный приспустил армированное окно и в щелку замелькали до холодка в груди знакомые московские пригороды. Вот и Казанский вокзал, наш вагон отцепили и часа три гоняли с путей на пути, пока не затолкали в какой-то замусоренный тупик. Цепь автоматчиков, воронки и, наконец, старинная приятельница — лефортовская тюрьма КГБ. Вот и камера. Я резонно рассчитывал на одиночку, но навстречу мне поднялся долговязый парняга лет 30-ти — контрабандист, как выяснилось. Вероятнее всего «наседка», а может и нет, но мне в любом случае не до него, не до психологических изысков и церемоний — мне бы побыть одному, чтобы сосредоточиться и внутренне подготовиться к любой неожиданности, а прежде всего — поспать. Стучу в кормушку, она мгновенно отворяется, и из нее, как чертик из коробки, — седая голова начальника корпуса: «В чем дело?»

— Я сюда не по масти попал, — объясняю — Я же, вы знаете, государственный преступник, рецидивист и т. д.. а человек, — киваю я на

сокамерника, — всего лишь под следствием, по уголовному делу... Может, он и не виновен вовсе, а я, знаете ли, закоренелый — могу разлагающее влияние оказать... Статью 18-ю Исправительно-Трудового законодательства помните? Ну вот... Так зачем же нарушать? Прошу срочно перевести меня в одиночку.

Корпусной уверяет, что завтра доложит начальству — сегодня никак нельзя, поскольку никого уже нет. Приходится поверить — раз нельзя проверить.

Мой контрабандист на дыбы: не хочешь, мол, со мной сидеть, за стукача считаешь...

— Да я, — начинает он истериковать, — семéру отволок! Год как из лагеря! Да у меня, век свободки не видать, вся зона по нитке ходила!..

Я столько их перевидал, столько раз все это слышал, что рот зевотой сводит. Мне нет особого резона ссориться с ним, но он явно из тех, кого не осади — на голову сядет.

— Вижу, — говорю, — что ты страсть какой блатной. Это дело твое, но я уже три ночи не досыпаю, с ног валюсь. Так ты уж, будь ты трижды козырной, постарайся не шуметь, а то я, хоть и не блатной, но тоже нервный.

Недвусмысленный намек, сопровождаемый как можно более твердым заглядом в глаза, — внял и потупился.

Едва я разделся — в кормушку голова: «Днем нельзя спать, только лежать поверх койки». Я так устал, что мне наплевать — лезу под одеяло. Что они, в конце концов, могут мне сделать? Неспроста же они меня сюда привезли: если для нового срока или смерти, так повод всегда от-

ыщется, а — на свободу, так тем более плевать — избить побоятся, чтобы синяков не было...

Сокамерник вздыхает, переживая поражение. Внешне он напоминает мне Юру-Людоеда — такой же верзила и железа полон рот, но характером куда пожиже. Одно время этот Юра трудился «дуборезом», т. е. покойников потрошил. И вот как-то, растерзав очередного мертвеца, он привязался к главврачихе Коломийцевой (она же супруга начальника лагеря): «Ты же видела, какой жмурик гнилой попался? Дай спиртяры... чтоб не заразиться».

«Иди ты... — послала его улыбчивая врачиха в одно специально женское место. — Ты же его руками потрошил, — смеется, — а не зубами».

Юра, не долго думая, цап покойника зубами за ляжку и ну ее теребить, урча по-собачьи. То-то смеху было, дородная мадам Коломийцева повалилась на стул, тряся всеми пудами своих полусфер... Юре, конечно, нацедили с полстакана медицинского спирту.

Но его вовсе не за это прозвали людоедом, а за то, что он играл в карты на «мясо и кровь». На нем живого места не было — рубцы самых причудливых форм, шрамы, сочащиеся сукровицей свежие порезы... В голодных спецлагерях, в карцерах и тюрьмах уголовники, проиграв пайку, ставят на кон «мясо и кровь». Шмат мяса (из спины, живота, ягодиц, ляжки или икр) отхватывается на глазок — этак с котлету средних размеров, а для крови в каждой камере хранится тщательно градуированная самодельная мензурка.

Неглупый и наглый, он терроризировал полити-

ческих, зарабатывая начальственные подачки. Как-то раз хитроумная судьба в погонах свела меня с ним в камере Владимирской тюрьмы. Но я давно уже, еще со времен драчливого мальчишества, усвоил одну счастливую истину: «Он боится больше меня». Воспитанные на примитивном представлении о героизме, в ножевой ситуации, прислушавшись к сердечному трепыханию, с ужасом сознают, как далеко им до книжных героев. Плохие психологи. Им невдомек, что у врага тоже шкура дрожит, они тут же зачисляют себя в трусы и отступают в стыде. Секрет простой: всегда помнить, что «он» тоже боится, и даже чуточку больше меня — самую чуточку, чуть-чуть, ровно настолько, сколько нужно, чтобы обратить его в бегство.

Не прошло и недели, как мой Юра простучал в соседнюю камеру: «Пригоните свинокол». Ладно, сижу читаю, но краем глаза слежу за ним, и ноги напружинил — вскочить, если что. Вроде читаю, а на самом деле уговариваю себя: «Он боится больше меня, он боится больше...» Однако что же делать? Боль ему нипочем, чуть ли не в удовольствие — мазохист. Чего он вправду боится? Конечно, голода — иначе не стал бы «людоедом», но что это мне дает? И смерти. Сам рассказывал, как дважды сидя под «вышаком», трясся и онанировал все ночи напролет, чтобы забыться. Значит. на убийство он не решится — третий раз от вышака открутиться трудно. Но вот ночью «подрезать», т. е. пырнуть ножом не до смерти или глаз выколоть, это он может и делал уже не раз, даже и просто так, чтобы под следствием посидеть, отъесться малость. Расстрел за это не

дадут, а сроку у него и без того под самую завязку. Ночь для меня опасна, значит, до отбоя я обязан обратить его в бегство. Ни взывать о помощи к начальству, ни убивать его — мне и в голову не приходило: первое вразрез с общеарестантской этикой, второе — с лично моей. Но выхода нет — надо демонстрировать готовность идти на любую крайность.

Мужик он был живописный (был — потому что лет через пять после того его, по слухам, зарезали в драке). Верзила, но узкогрудый, с длинными по-обезьяньи руками, вся голова в причудливых зигзагах шрамов, язык что бритва и мимика уморительная.

«Ну з-змеи, трепещите! — журавлино вышагивает он от стола к двери, и то одну стену пнет ногой, то другую — жуть нагоняет. — Ты смотри. падла: читать я ему мешаю! Тут вам не академия тухлых наук, а тюряга, тут закон петушиный · клюй ближнего, сери на нижнего, а не книжки читать. — Всякий раз, поворачиваясь спиной к волчку, он дает ножу выскользнуть из рукава и, увесисто качнув его на ладони, подбрасывает, ловит и снова прячет в рукав. — Ну т-тварирополитики, трепещите! Хевра попрет на вас — обхезаетесь, фраера!»

Время шло, выдержка моя понемногу таяла, а вместе с ней улетучивалась и уверенность в себе. Нет ничего опаснее упустить момент наибольшей внутренней решительности. Надо было срочно разогреть себя до слепого безрассудства, до блеска одержимости в глазах... Он говорил, говорил и говорил, кочегаря себя и давя мне на психику, я молча бормотал свое заклинание —

не очень-то воинственное, интеллигентски хилое, ему не слышное — он изошел бы хохотом, когда бы услыхал. Склоненность над книгой, молчание — ему как предвозвестник белого флага, готовность сдаться.

А время идет. Прежде всего — встать. «Я тебя долго слушал, теперь ты меня послушай — рекомендую. Ты тут часа два уже с ножом разгуливаешь. Закон ты знаешь: взялся за нож — режь, иначе — руку пополам. Но ты рассчитываешь: он, мол, не блатной... Верно. Но много ты кровушки у наших попил — и хватит. Когда я замолчу, считай до десяти — или ты сам пойдешь на меня с ножом, или я просто отниму его у тебя и придушу как крысу. Твоя братва насчет ножа, не сомневайся, расколется — не так уж они тебя любят... Меня на этот раз не шлепнут, как бы ни хотели — уж больно биография у тебя не того, ножом ведь ты не впервой балуешься... И хватит. Считай!» Я распалился от собственных слов, и ртутный шарик страха, катавшийся по сердцу, противно холодя его, растворился в волне нерассуждающей ненависти к этому оскалу железных челюстей, выплевывающих: «Да сукой быть — зарежу! Ну иди! Иди!» Едва я, отлепившись от стены, шагнул к нему, он, взвизгнув, рухнул на пол и зашелся в истерике, суча по полу ногами. Тут же набежали надзиратели и уволокли его.

А через день мне выписали 12 суток карцера: был обыск, и под койкой оказался нож — несмотря на истерику, в последний момент Юра-Людоед успел выбросить...

Неужели, — несмело размышлял я, — дело идет к концу, и я уже больше не буду видеть

всех этих морд — ни чекистских, ни уголовных?

27.4.79 г.

Проснулся я от гнусавого шепота в самое ухо · « Подъем... » — надо мной склонился надзиратель « Вот бритва », — положив на стол безопаску, мыльницу с кисточкой и зеркальце, он вышел Мой сокамерник тоже проснулся. Было часа четыре утра, не больше — до законного подъема далеко. Что бы это значило?

Мой сосед засуетился :

— Точно — на свободку тебя!

— Если бы знать...

— Я тебе говорю — точняк. По всему видать... Так ты, браток, звякни моей бабе, пусть папиросы дурью*) зарядит — мне через неделю передачка положена. Телефончик простой — запомнишь, пока бреешься.

Пришлось запомнить. Условились, что я как бы забуду в камере пару пачек махорки, кусок мыла и носки. Пришлю за ними надзирателя — дела мои плохи, если же никто за ними не придет — значит, я пошел на свободку. (События потом развивались с такой стремительностью, что позвонить его « бабе » я не сумел — наверное, и по сию пору он ждет не дождется вожделенной « дури ». Вряд ли он знает, что я, совершив фантастический кульбит, приземлился, минуя московские телефонные будки, за морем — за окияном. То, что мы сцепились накануне — одно, а арестантский долг — само собой. Он не сомневается, что я позвоню... (Но не отсюда же! Я

*) Дурь — род наркотика, анаша. Примеч автора

позвонил двоим своим друзьям в Москву — им сняли телефон. Вот и звони! Разве что врагам своим...)

Побрился, жду, стараясь ни о чем не думать. Поддакиваю контрабандисту. «Ведь зарекался же, — плачется он на судьбинушку. — Как подумаю, что снова в лагерь — волосы дыбом. Да разве на сто двадцать проживешь!.. Эх жисть!»

Но вот захлопали в коридоре кормушки — подъем. И тут же отворилась дверь, мне надзиратель ручкой — пошли, мол.

В просторном кабинете за столом хмурятся трое: полковник КГБ и два золотозубых старичка — жирные полупризраки с дряблыми лицами лемуров.

— «Указом Президиума Верховного Совета СССР, — торжественно-злобно засипел один из них... Я оглянулся, ища глазами стул — напрасно. Все тонко рассчитано: они сидя объявляют мне высочайший указ, а мне положено выслушать его стоя, покорно склонив голову. Ну, насчет головы это еще как сказать, а постоять придется. Ничего — переживу как-нибудь, — ... государственный преступник Кузнецов Эдуард Самуилович лишается советского гражданства и должен покинуть пределы СССР в течение двух часов»... Вопросы есть?

— А как же. Я вот насчет двух часов любопытствую... Нельзя ли поскорее?

Они втроем буравят меня глазами, я, чтобы не распыляться, уставился на одного, того, который зачитал указ.

— Идите, — цедит он наконец.

Уже не в камере меня заперли, а в комнатушке, где накануне обыскивали. Спустя минут пятнадцать тот же полковник — оказывается, новый начальник тюрьмы — принес мне гражданское одеяние.

— А как же мои однодельцы? — спрашиваю.

— Не знаю, — врет, не отводя глаз.

— Каков мой юридический статус? Меня, насколько я понимаю, не помиловали, приговор не отменили, срок не сняли... Значит, если я надумаю в Москву туристом, вы снова меня за решетку — досиживать свои шесть лет, или как?

— Не стоит попадаться, — советует. — В том числе и туристом...

— В какую страну я еду? Сегодня... Надеюсь, не в Китай-Вьетнам?

— А куда бы вы хотели?

— А то вы не знаете? Но для начала я согласен в любую, где вас нет, какие бы вы ни были — русоволосые или косоглазые...

Костюм чешский, туфли польские, рубашка болгарская и только галстук и брючный ремень эсэсэсэровские — чтобы повеситься на них, что ли?

— А как же мои книги и тетради?

— Книги мы проверим и позже отдадим, кому вы укажете, а тетради... Вы же знаете, что из нашего учреждения ни одного листка не может выйти.

— Да их же сотни раз проверяли и перепроверяли! Там никакого криминала. Девять лет работы, четыре тысячи листов — конспекты, мысли там всякие, наблюдения, сюжеты, фольклор.. —

Я начинаю неспеша раздеваться, полковник както дрогнул лицом.

— Вы что?

— Без рукописей я отсюда ни шагу — только на кулаках можете меня вынести.

— Нет, почему же, — засуетился он. — Если там действительно ничего нет... Сейчас товарищ, который просматривал их, принесет... — Он нажимает околодверную кнопку.

Я торжествую. Тем стыднее мне теперь, когда так очевидно, что ни рукописей, ни даже книг они мне не вернут.

Надзиратель принес мои тетради и, продемонстрировав их целость-сохранность, аккуратно упаковал в картонный ящик, перевязав его, по моему настоянию, кокетливо-розовой бечевкой. Я было за ящик, но он опередил меня лакейски: «Не утруждайтесь». Идем к машине, он маячит за спиной, сажусь — его и след простыл.

— А где же ящик с тетрадями? — я к подпирающим меня плечами охранникам.

— Не беспокойтесь — его сдадут в багаж.

И только в самолете, где всякое трепыхание уже бессмысленно, они мне сообщили без тени смущения, что, дескать, произошла ошибочка, и тетради мне никак не могут отдать, ну никак!

Вереница «чаек» — штук десять, я в первой, флагманской, а перед нашим носом пылит милицейский «газик», сигналя непрерывно. Законы нам не писаны: светофоры и орудовцы нам не указ. Прохожие оглядываются — испуг и любопытство в лицах: с такой стремительной лихостью проносятся лишь те, кому законы нипочем, кто сам закон-судья-палач — един в трех лицах.

Два упитанных молодца подпирают меня крутыми плечами.

— Мы с вами будем до конца. Меня звать Виктор, его тоже Виктор.

— Сплошная победа, — острю по привычке.

Я жадно впитываю давно забытые краски, звуки, запахи, верчу по-птичьи головой туда-сюда, успевая замечать все, в том числе и нервное вздрагивание моих Викторов — им всякое мое движение подозрительно: небось, нарассказали им обо мне разной детективщины — они не очень удивятся, если я выхвачу из кармана браунинг и открою пальбу, или просто выскочу в окно, или мало ли еще что... С переднего сиденья, полуобернувшись, не спускает с меня изучающих глаз дородный мужичок, мне как-то неуютно — все гадаю: где я его видел? То ли он сидел со мной, то ли сажал... И только на площади Маяковского все встало на свои места — я вспомнил: он вел мое дело 18 лет назад.

— Вот отсюда все и началось, — игриво кивнул он на поэта, угрюмо попирающего камень пьедестала. — В 60-м году.

— Началось все куда раньше — году этак в 17-м, — уточняю я.

С той самой минуты, как тюремные ворота остались позади, что-то как бы щелкнуло внутри... Всякий арестант воспринимает неволю как временное выпадение из нормальной жизни, некий патологический вывих бытия, невозможность, которая не может же длиться вечно! Умом он знает: может, но сердце этого не приемлет — так противна душе человеческой тюрьма. Отсюда и поразительная легковерность арестантов, дет-

ская жадность до всяких, самых невероятных, слухов о грядущей амнистии. Но если он пересидел, то к чаянью свободы примешивается болезненное подозрение, что на самом деле она не для него — даже и по окончании срока что-то непременно случится...

Спустя несколько дней, уже в Тель-Авиве, я отказывался верить сам себе, оглядываясь назад. Настолько несовместимы две эти реальности — свобода и тюрьма, — что разом сосуществовать в сознании они не могут, как невозможно быть одновременно и мертвым, и живым... Что-нибудь одно. Днем я недоуменно оглядываюсь назад, и только ночами нет никаких сомнений, ночами я все еще там.

Тюрьма и свобода несовместимы, но в тот день — на перепутье — они встретились и сцепились, борясь, тесня друг друга, шизофренически двоя мое сознание. Все пестрое многоцветье жизни слепило мне глаза, от уличных шумов трепетал, казалось, каждый нерв... но где-то внутри затвердела как бы ледяная корка, сквозь которую ничто извне не проникало — глубинное неверие в заправдашность свободы для меня, годами выработанный механизм самозащиты твердил вопреки всем очевидностям: « Не обольщайся ». Я ощущал себя вроде автомата: дышу и вижу, мгновенно реагирую на всякий внешний раздражитель и даже в меру остроумен, но сантиметрах в трех под эпидермой как бы железный кожух, прячущий винты, колесики, пружинки механизма, живущего особой жизнью. И только в сердцевине извивается скользкий червячок стыдливой догадки, что от бессилья и безвыборности каждый

жест и ужимка с каким-то механическим привкусом.

Машины подрулили прямо к самолету. 11 часов. Я с ехидцей:

— А как же высочайший указ? В шесть утра с такой претензией — чтоб не позднее, чем через два часа покинуть... А сейчас уже одиннадцать.

Молчат. А что же им делать? Признаться, что без лжи они ни шагу? Во лжи зачаты, рождены, ложью питаются, ее вдыхают и выдыхают. Когда бы какой-нибудь неслыханной благодатью этой несчастной стране дарован был всего один денек без слова лжи — какой бы учинился грохот и как бы затрещало все по швам и, может, рухнуло...

Обычный «ИЛ». Нас привезли загодя, а полчаса спустя я с любопытством глазел из самолетного окна на поспешающих к трапу пассажиров, дивясь нарядам и лицам, по которым завсегда отличишь иностранца от коренного советского гражданина, безошибочно угадывая в чисто вымытых бодрых старушках тех самых многократно описанных американок-туристок, что бродят, неуемно щебеча, по всему свету и вот, гляди-ка, даже и до Москвы добрались.

КГБ не поскупилось: рядом с каждым из нас два замаскированных под нормальных людей чекиста, на задних креслах еще 10-12 штатских. Едва мы разместились, как пришли двое из американского посольства и сообщили, что по специальному соглашению между Москвой и Вашингтоном нас доставят в Нью-Йорк... Видимо, учтя больную психологию арестантов, они предъявили нам документы, из которых явствовало, что они и в самом деле американцы...

Мои сопровождающие вполне корректны и даже тужатся поразвлечь меня какой-то болтовней. Мне надо бы сосредоточиться, осмыслить весь этот свалившийся на меня день, но я страшусь чего-то, уклоняюсь от молчания, от необходимости погрузиться в себя... Будь что будет, говорю я себе в который раз.

Разговорчики все пустяковые, только где-то над Скандинавией пытаюсь зондировать их поглубже — ускользают, отмалчиваются или переводят в шутку.

— Не совестно вам, — спрашиваю, — в чекистах ходить? В чекистах — все равно, что в записных людоедах.

Сердиться на меня им не положено.

— Ну, теперь другие времена, — чуть ли не в один голос.

— Вы полагаете, что не в ответе за *те* времена?

— Сын за отца и то не в ответе.

Смотрят победно — это их козырной аргумент, слышанный мною не единожды. Специально натаскивают их, что ли, вдалбливают стереотипные реплики?

— Сын, — говорю, — отца не выбирает, а партию и тем паче голубой мундир именно выбирают — со всем его прошлым... Ну а если завтра, — задаю свой любимый вопрос, — опять то же самое, то вы как?

Мнутся — ни да, ни нет. Странно — обычно следует энергичный выпад: «К прошлому возврата нет!» Хотя это ложь: объяви ты по радио, что отныне милостиво даруется свобода — затылки ногтями раздерут, прикидывая, что бы это такое могло означать, а прорычи зычно, что

Сталин изволил воскреснуть — переглянутся молча, повздыхают тайком и воспримут как должное.

— Ясно, — резюмирую. — Как партия прикажет. Так?

Соглашаются, но как-то не очень бодро. Все-таки не тот нынче чекист пошел, без огонька, оправдываться порой норовит. Или насквозь циник.

Едва я на ноги — оба вскочили: куда?

Объясняю, что всего-навсего в туалет. И мы, говорят, туда же.

— А что так? Я вроде бы свободен.

— Вы еще на советской территории — самолет ведь наш.

— Ах да, ведь приговор мне не отменен и советская территория для меня всегда — тюрьма. И все же в туалете я мог бы вполне обойтись без вас.

— Понимаете, — объясняет один из Викторов, — американцы что-то там темнят... и если с вами что случится, скандалу не оберешься.

— Что же я, в унитаз что ли выпрыгну?

— В унитаз не в унитаз, а вот если синяк какой на лице появится или царапина, скажут — мы тебя били.

— Ну и фантазия у вас! Как у потаскушки — днем она умело краснеет по всякому пустячку и все равно подозревает, что все знают ее подноготную.

— Пусть думают, что хотят — мы за свою репутацию не боимся, — парируют не очень логично.

— Но тогда почему бы вам не освободить меня

пару месяцев тому назад, когда я едва ноги таскал от голода? Нет, сперва повезли в спецтюрьму, посадили на больничный паек, расщедрились на посылку из дому... А почему бы вам не освободить священника Романюка — его перед отправкой в ссылку так избили, что, уверен, у него и сейчас еще синяки не сошли.

— В чем дело? — подскочил к нам один из тех, что с задних кресел пружинно обозревал весь салон. Да вот, объясняют, в туалет. Но что-то, видно, не понравилось ему, и скоро Викторов заменили мужички поголоворезистей.

— Как же так, — забубнил один из них, — жил, рос на нашей советской земле, как все, и на тебе!.. И происхождения вроде не буржуйского.

— А при чем тут, — возражаю, — происхождение? Мало ли которые из буржуев помогали вам? Вон хоть и Савва Морозов — какие миллионы отвалил вам на революцию, так вы же его и пристрелили потом. Да и теперь на Западе полным-полно ваших помощничков — вот уж взвоют они, когда вы до них доберетесь, не приведи Господи.

За окном режущая глаза неправдоподобная белизна громоздящихся друг на друга облаков и яростная щедрость солнца... зажмуриться — сырая полутемь камеры, болезненная прозелень скорбных лиц...

Когда варился в той невозможной тюремной каше, в самой гуще, казалось, что не позабыв ее, нельзя жить — память убьет. Может и так. Но и забыть никак нельзя — все равно не получится. И еще потому, что забыть — предать...

Посадка на промежуточном аэродроме в Кана-

де. Обмениваемся взглядом с Гинзбургом : похоже на правду — аэродром как подделать? Да и не верил я с самого начала в какие-то подделки, это все подкорка барахлит, противится очевидному, выискивает подвох. Нельзя так жестоко с человеком: сразу из глубин подводных на солнце — резкий перепад давлений, кессонная болезнь, а попросту — шизофреническое расщепление личности...

В нью-йоркском аэропорту какая-то суета возле самолета, все пассажиры давно сошли, охрана наша явно нервничает и перешептывается-перемигивается. Тревожное предчувствие какой-то опасности. В чем дело? А вдруг, мелькает, что-то разладилось в их сверхсекретном соглашении? «ИЛ» развернется и снова — Москва, двухметровые стены лефортовского каземата, мордовская спецзона... После такого солнца — бетон, грязь и шлак, ни цветка, ни травинки!..

Но вот какие-то машины у переднего трапа, и двое славянского типа неулыб неспешно подымаются в самолет. Всё засуетилось, задергалось, как в кинолентах начала века, и вот мы, наконец, на американской земле — рукопожатья, обниманья...

Уже в машине госдеповец сказал, что нас обменяли на советских шпионов. Мне как-то все равно — на шпионов, на трактор или корову. Чужая грязь не марает — в любом случае я не шпион, не корова, не трактор. Обмен военнопленными, заключенными — старинная и почтенная гуманитарная институция. И не суть важно, сколько и чем заплачено за человеческую свободу — она стоит любой цены. Кроме чужой крови, даже и распоследнего злодея.

Впиваюсь в заоконные лица, еще странные моему глазу — что за люди? За километр видать, что не советские, но кто они, чем и как живут, что им ночами грезится? И дома чудные, как на открытках из Нью-Йорка, и мусором все тротуары завалены, как на снимках из московских газет о забастовках мусорщиков...

37-й этаж небоскребного отеля. «Вот ваша комната», — мне показывают. Вваливаемся впятером — не комната, а зала с двумя широченными, как нары на десятерых, кроватями.

— Официальное сообщение о вашем освобождении будет только ночью, — поясняет нам кто-то из сопровождающих. — Пока никто не знает, можете отдохнуть.

— Да, — подтверждает директор отеля. — Такая секретность... Мы думали, раз такие предосторожности, то ли шаха иранского следует ждать, то ли Ясера Арафата.

Что ж, отдыхать так отдыхать — не раздеваясь, мы валимся на кровати. Какое-то замешательство на лицах наших хозяев. Через минуту все держатся за животы от смеха: привыкшие к советским стандартам, мы, не мудрствуя лукаво, решили, что эта зала нам на пятерых — кто бы мог подумать, что каждому из нас отведены отдельные аппартаменты...

По общему решению, я наскоро составляю совместное заявление для утренней пресс-конференции. Глубокая ночь, увешанный огнями Нью-Йорк из поднебесного окна — голова кру́гом... Чудо! Чудо?..

Мело, мело песчинку к песчинке, чтобы однаж-

ды — 27-е апреля с видом из небоскребного окна... Ну чем не хэппи энд?

Интересно, в какую отсюда сторону московский Кремль? Очень мне хочется язык ему высунуть.

2.7.79 г.

---

**Кузнецов, Эдуард Самойлович** — родился в 1939 году. В 1961 г., со второго курса философского факультета МГУ, был арестован и осужден по ст. 70 и 72 на семь лет. 15 июня 1970 г. был арестован за попытку угона самолета и побега из СССР. Приговорен к расстрелу, замененному на 15 лет лагерей особого режима. В тюрьме и в лагере написал две книги «Дневников», изданных на Западе. Ныне живет в Израиле.

Группа бывших советских политзаключенных подготовливает к изданию сборник лагерной поэзии. Сборник будет составлен из произведений, написанных в советских тюрьмах и лагерях с начала советского режима и до наших дней (включая лагерный фольклор).

Составители хотели бы избежать зависимости от будущего издательства. Поэтому решено издавать сборник на собственные средства, по-братски скинувшись.

Шлите, пожалуйста, стихи, фамилии и адреса людей на Западе и в СССР, которые могли бы помочь нам; а также посильную денежную помощь по адресу:

Dunaevsky Valéry,

8/14 Ezel Str., Givat Zarfatit, JERUSALEM, Israël.

**Абрам Терц**

# ОЧКИ

Как я потерял зрение, я не знаю. Буквально так. Меня переправляли столыпиным из лагеря в лагерь, по этапу, и вдруг запятили без объяснений в местную узловую тюрьму и, поморив сутки-другие взаперти, выбросили на берег, на волю. В общей сложности вся процедура продолжалась часов тридцать-сорок. И это не так долго, если бы на следующий день, уже к вечеру, я не очнулся свободной тюремной крысой на захламленной станции — Потьма.

Но прежде чем перейти к новой фазе в моей биографии, я должен вернуться к началу, в одиночную камеру, куда меня втолкнули в потьминской пересыльной тюрьме и где я провел счастливые часы жизни, не подозревая, зачем меня сюда завезли. Я не ждал, что за воротами мне маячит уже, карячится Москва, и я начал обживаться, как обычно обживаются бывалые арестанты, попав на этап, — стучать в кормушку, кричать: «Начальник! жрать охота! пора обедать! и скоро ли, наконец, выведут меня в туалет?!»

Начальник, пожилой, краснощекий и тоже битый в наших делах старшина, похожий на Буденного, но толще и меньше ростом, с седыми, заправленными к самым бровям усами, дежуривший не по всему каземату, а только по одному нижнему его этажу, сейчас же отозвался и при-

8 июня 1971 г Андрей Синявский (Абрам Терц) неожиданно был освобожден досрочно.

грозил мне весело карцером, если я не перестану орать, поскольку горячего мне сегодня не причиталось, бумаги на меня не оформлены и вообще еще не известно, кто я такой. К ночи он сжалился и сам, личной властью, вывел меня в уборную, а также сунул, не глядя, вечернюю пайку хлеба вместе с железной кружкой безвкусной, тепловатой воды. Вообще, я заметил, он был незлым, неопасным, притерпевшимся к тюрьме человеком. Он больше стращал и ругался, чем действовал по уставу. Я смирился.

Так ошеломляюще, невероятно звучало его извещение, что со мною толком не знают, как быть и куда отправлять, что я никто, ничей и вроде бы вне закона, эта новость была так легкомысленна и соблазнительна для меня, привыкшего ходить под конвоем на работу и таскать проклятые ящики, что я поклонился в душе этому благословению свыше — не думать, что будет завтра, не ведать, что станет со мною, и жить, повинуясь волне, выбросившей меня, старую прогнившую рыбу, в тихую глубоководную заводь потьминской пересыльной тюрьмы. Нет, надеждами на свободу я не обольщался. Я желал одного — отделаться от выматывающего душу труда. И просидеть несколько дней, может быть неделю, если повезет, в спокойной одиночке, на перекрестке дорог, не работая, представлялось мне незаслуженной и нежданной улыбкой судьбы, вроде ничем не оправданного, выпавшего по ошибке выигрыша в лотерею. Не только сердце — кости мои пронзило чувство безгрешной, сверхъестественной неизвестности. Будь что будет, а мы покуда покурим!

Я оглядел исподлобья мою обитель. Она была сурова, она была правдива, эта дарованная мне Богом жилплощадь. Нары доходили до двери, и, сидя, я упирался в железную обшивку коленями. Было холодно, и свет лампочки, забранной в сетку высоко на потолке, чтобы до нее не дотянулись длинные руки у́рок, едва ли согревал помещение. Мнилось, электричество не рассеивает здесь, но нагоняет мрак. Лампочка словно чадила, насилуя себя, вкрученная в почерневший от времени и многократных перегораний патрон, трепещущая, как душа человека перед смертью, — дряблая игла, нечистая нить, закосневшая в угрызениях совесть...

Затем, почти машинально, я обежал стены в расчете прочитать, как случалось, заскорузлые подписи тех, кто раньше, до меня, ночевали в этой дыре, препровождаемые дальше, по трассе. И тут же подивился мрачному искусству строителей и еще яростнее, нестерпимее — не то, чтобы возненавидел их, но — отринул от сердца. Камера сверху до́ низу была изъедена мелким рельефом, словно затоплена морем вздыбленных каменных волн. Писать по этой коросте было невозможно. Острые, кремневые гребни ломали любой карандаш, пожирали рисунки и символы. Ни крест начертить, ни бранное слово, ни имя, ни число предполагаемого отъезда, расстрела...

Тогда я извлек грифель, предусмотрительно зашитый в бушлате, и подержанную газету «Известия», которую, по прибытии, как заядлый курильщик, позаботился отклянчить на шмоне у грозного моего старшины. На газете, точнее на газетных полях и кое-где между строчками

аккордных заголовков, не выпуская из вида круглый дверной волчок и густые, пещерные отложения по стенам, я принялся неровной рукой наносить беглые знаки. Я сочинял, я писал, прекрасно понимая, что так не пишут, что всё это ни к чему, и нары, на которых я примостился, поджидают других арестантов, более, быть может, достойных и наторелых в писательстве, чтобы помочь им не менее ловко сложить веселые головы. Я был безжалостен в ту минуту — и к тем далеким, безвестным собратьям, грядущим по извилистым этапам России, и, слава Богу, к себе.

О чем я писал тогда, я уже не помню, и вряд ли из-под грифеля вышло что-то серьезное. Слишком я был раздражен, очарован этой невозможной стеной. С чем ее сравнить, с какой архитектурой? Она исключала малейший намек на пребывание здесь человека. Цементный пол в потеках и засохших плевках был проще ее и покладистей. Если б базальтовая скала, харкающая лавой, вздумала однажды рассказать о нашей посмертной судьбе в преисподней, она бы, я полагаю, прикинулась этой стеной, этим морем курчавого, разозленного дьяволом камня. Казалось, я угораздил в тот самый ад, который мечтал повидать, над которым посмеивался в ослепленные прожектором ночи лагерных аварийных работ, когда грузили железо под жестоким дождем и ноги разъезжались по трапу, грозя пропороть живот, вывихнуть и раздавить позвоночник несносной, не поддающейся смыслу и осязанию кладью, а я самонадеянно, осмелев, подмигивал осатаневшим ребятам, что это, дескать, еще не ад, а всего навсего чистилище, — так вот ад, каза-

лось, настиг меня наконец и проступил сукровицей сквозь расчесанную до крови, замешанную на серной, на царской кислоте землю.

А тюрьма между тем жила — полнее и вдохновеннее, чем мы живем, чем вы живете у себя дома. Снаружи тюрьма представляется сосредоточием отчаянья, бездействия и безмолвия. На самом деле это совсем не так. И перистальтика этапов куда напряженнее изнеженных европейских страстей, шоссейных лент, авиалиний, хоккейных и футбольных матчей, вашей почты, кино и вашего телеграфа. Впоследствии, много лет спустя, опускаясь в подпольные притоны Парижа, впутываясь в карнавалы Италии, на корридах в Мадриде, созерцая высокомерную эрекцию торговых контор и межведомственных небоскребов Америки, я никогда уже не встречал этот стиль, этот ритм, этот стимул жизни, каким страшна, притягательна и отрадна тюрьма.

Эфемерные, картонажные стены моей камеры содрогались. Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора, пускай не столь прославленного, как Лефортово, Лубянка, как взбудораженная залпами ночных этапов Матросская Тишина. Но, сидя в отсеке захолустной пересылки, я уже почитал себя клеточкой, молекулой огромного Левиафана, плывущего в даль истории, без огней по бортам, но с огнями внутри, в трюме, с толпами поглощенных, проглоченных и всё еще ликующих узников. Визг женщин, смех, пение, женские заливистые переклички с мужчинами, которые не отставали и устанавли-

вали контакт с минутной подругой по слуху, по мелькнувшей в уме, в недосягаемой памяти юбке. ругань, шум зачинающейся игры или драки, куда наш старшина кидался, как лев к обедне, для того, чтобы поглазеть, а потом и наказать сцепившихся в мокрый клубок борцов, во избежание смертных исходов, — всё слагалось в мерную, легкую дрожь, пробегавшую по камню, словно по коже чудовищного животного. Только со второго. судя по всему, этажа членораздельной речью дохлестывались стоны и вопли какого-то сумасшедшего, бившегося в железную клеть, должно быть, всем телом и доказывающего под общий хохот, что он ни в чем не виновен. Помнится, он требовал к себе немедленно, сию же минуту, доктора и прокурора. А то он повесится! А я — записывал, записывал...

Когда я свалился в Москву, был, к моему сожалению, яркий, солнечный день. Вольняшки, как ни в чем не бывало, разгуливали по воздуху и делали, что хотели. Если бы погода была ненастной и народу поскромнее, город, возможно, не произвел на меня подобного впечатления своим режущим светом, который лишь увеличивался в присутствии чистых лиц, улыбок, расписных витрин и костюмов. Я пожалел, что у меня при себе нет черных очков. Шума я не слышал, но поле зрения было перегружено красками праздной, разодетой Москвы, так что голова кружилась и хотелось поскорее пройти незамеченным сквозь это гулящее царство и спрятаться в какую-нибудь темную подворотню. Я опускал глаза в тротуар, чтобы их не видеть, и всё же невольно фиксировал похожих на тропических птиц, на

бабочек, на цветы мужчин и женщин, порхающих по накатанным до паркетного блеска панелям, умноженных зеркалами магазинов и автомашин. Мимо меня прогарцевала, ласково стуча каблучками, миловидная девушка с гордым лицом индейца, в коротенькой пурпуровой юбочке, едва прикрывающей бедра, с черным конским хвостом волос на затылке, которым она потряхивала в такт походке. Недоставало дротика в тонкой, смуглой руке. Должно быть, торопясь на свидание, она несла свой торс через весь город, как боевое знамя, — даже как-то немного впереди и выше себя. И я отвлеченно подумал, как дорого заплатили бы за этот сеанс у нас в зоне, пройдись она там так же бескорыстно и независимо, как проходит передо мною сейчас...

У себя дома я кинулся к полке с книгами, по которым извелся за годы командировки, и не для того, чтобы читать, а просто так, ради свидания с ними, взял и раскрыл наугад одну и даже загадал, что открывшаяся страница послужит мне чем-то вроде пророчества в моей новой, неспокойной судьбе. И только тогда заметил, что глаза у меня поехали и я не различаю самые обыкновенные буквы, хотя вчера читал и писал без видимого усилия. Отставил книгу на метр, на полтора и лишь с дальней дистанции едва разобрал цитату, показавшуюся мне неуместной и неостроумной насмешкой над человеком в моем положении. Это был Лермонтов, и строки мне запали:

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан...

Безусловно, потеря была невелика, в особен-

ности по сравнению с дарованной мне свободой. Все люди в моем возрасте страдают глазами, и как я до сих пор удосужился не ослепнуть, уму непостижимо. Но я ломал голову и зачем-то порывался поймать, в какой момент именно мое зрение отказало. То ли в последнюю ночь, на пересылке, когда я царапал грифелем по газете, надеясь перекричать и вместе увековечить абстрактные голоса на стене, то ли немного позже, при виде столичной толпы, слишком яркой и радостной для моего потемненного ока. Либо, может быть, за пять-десять минут, исполненных страха, растерянности и злобного восторга, покуда мне зачитывали спущенный свыше приказ о досрочном освобождении, в которое я верил и не верил, принимая за новый подвох, за какую-то очередную шахматную задачу наших тороватых на подобные штуки владык.

Гусар ! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан...

И я заплакал — не над своей слепотой, из-за которой, повторяю, не было причины расстраиваться. И не по безвременной молодости, которой, прямо скажем, было не так уже много. А по вставшему внезапно в сознании *седлу,* как я это назвал, разделившему меня на две половины, на *до* и *после* выхода из-за проволоки, — как будто предчувствуя, как трудно вернуться оттуда к людям и какая пропасть пролегла между нами и ними. Я плакал и видел *седло* в образе и форме очков, которые я надену в знак непроходимой границы, в память о газообразной, струящейся письменами стене, голошащими неустанно — и всё о море, о море...

И, действительно, с очками по-видимому начался у меня перевал к чему-то не вполне основательному, не совсем нормальному в жизни, и всё, чем я обладал во вне и внутри себя, мне как-то не удавалось схватить ни зрением, ни сознанием. С очками вообще поднялся в доме переполох. « Очки ! Очки ! » — кричала жена в телефон, названивая в Донецк, нашему старинному другу, имевшему связи в Лондоне, умоляя, по знакомству, выписать из-за границы точную английскую оптику. Тот не понимал, о чем речь, пугался, переспрашивал, а жена кричала :

— Очки ! Даю по буквам : Ольга, Чекист, Константин, Ирина. О-чки !

Первое время я пользовался чужими очками, одалживая у друзей, либо чаще, для чтения, большой увеличительной лупой, в какие дети рассматривают бабочек и марки. Этому инструменту надоумил меня покойный дед со стороны матери, Иван Макарович Торхов, полуграмотный крестьянин, все последние годы своего преклонного возраста посвятивший уединенной молитве и перечитыванию Святого Писания с помощью ручного зажигательного стекла, которое я, тогда ребенок, летом ему подарил. Как сейчас вижу, в деревне, доброго моего старика, который еле-еле передвигал большие калоши, но, восседая на веранде, бодро ползал по буквам и шептал по складам прекрасные имена, звучавшие для меня, безбожника, забавной абракадаброй :

« Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фарéса и Зáру от Фамáры... Езекúя же роди Манассúю. Манассúя же роди Амóна. Амóн же

роди Иосúю : Иосúя же роди Иехóнию и братию его в преселение Вавилонское... ».

Впрочем, деду было несложно читать и перечитывать тугую славянскую вязь, поскольку, я понимаю, он знал ее на память и держал перед глазами Евангелие больше из уважения, ради телесного к нему и душевного прикосновения. Мне же, напротив, посредничество очков, привезенных вскоре из Англии, мешало общению с книгой, потому что, признаться, когда я читаю, либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в жизни, я мысленно разоблачаюсь в приязненном склонении к тексту, а здесь меня вынуждали натягивать на глаза вспомогательные рогатки, отдалявшие меня от бумаги, от мысли, от языка. Я начал замечать, что я всё меньше и меньше читаю и совсем уже редко пишу.

Правда, в окулярах скрывалось то достоинство. что стоило приладить эти плетенки на лоб, как я мигом выключался из текущей мимо меня жизни. Я был недоступен в моем скафандре. Бывало, нацепишь, — и нет тебя совсем, и не было на свете. Как если бы в очках мы становились невидимыми. Я пристрастился временами даже спать в очках. Но чаще просто сидел, при всех доспехах, в забрале, ни о чем не думая, не помышляя взять в руки перо. Сквозь плотные стекла, предназначенные для чтения, для рассматривания букашек, комната вместе с мебелью тянулась бесформенной водорослью, какою зарастают аквариумы. Едва улавливалась волна шкафа, волна дивана, стола и двух с половиной музейных кресел, не ведавших, зачем их сюда занесло, когда б

однажды я не треснулся коленкой об угол и не скорчился от боли в маленького карлика:

— На кой чорт они нужны?! Да в них я вообще ничего не вижу!

Не знаю, или английский мастер что-то не так зашлифовал и начислил в моих мизерных диоптриях, как требовалось по рецепту, или с непривычки глаза не лезли в прицельную камеру и дублировали действительность в расстроенном и перекошенном образе. Правым глазом, казалось, я шарил зажигалку, как всегда терявшуюся, сливавшуюся с диваном в его ковровом рельефе. А в левое очко... Но надо ли уточнять, что́ мне мерещилось тем же временем слева? Смех, пение, женские заливистые переклички с мужчинами, закосневшие отложения извести по стенам, от которых, однако, я был отторгнут, отгорожен, выброшен в мир из родимого зверинца, как безбожный плевок, как кал из-под одичавшей собаки... Так, выражаясь суммарно, переносил я наследие, доставшееся от дедушки, от матери, от отца, от Авраама и Исаака.

---

**Абрам Терц** - Синявский, Андреи Донатович — родился в 1925 году в Москве. Окончил Московский университет. Кандидат филологических наук. Работал в Институте мировой литературы АН СССР. Печатался в журнале «Новый мир». С 1955-го года под именем Абрама Терца начинает писать и печататься за границей. В 1965 году исключен из Союза писателей, арестован и осужден. Шесть лет провел в Мордовских лагерях строгого режима. Работал грузчиком. В 1973 году выехал во Францию

**Е. Эткинд**

## НАУКА НЕНАВИСТИ

В последнее время появился — и *там*, и *здесь* — новый литературный жанр: «загадочные портреты». Едва мы, разобравшись в зиновьевских псевдонимах и перифразах, установили, кто такие Распашонка, Правдец и Мазила, как пришлось снова ломать голову над повестью В. Катаева «Алмазный мой венец»: перед нами дефилируют Щелкунчик, Ключик, Королевич, Мулат... Догадаться нетрудно; если Мулат пишет стихи: «одним концом — ночное Поти, другим — светящийся Батум», то даже не очень осведомленный читатель скажет: Пастернак. Зачем авторы шифруют? Это вопрос теоретический, решается он каждый раз по-своему. Зиновьев, скажем, потому, что действие его «Зияющих высот» разыгрывается в стране будто бы фантастической, на самом же деле без труда узнаваемой — это своеобразная литературная игра, восходящая к Салтыкову-Щедрину. Катаев — чтобы сохранить за собой право на выдумку, чтобы выйти за рамки воспоминаний, все-таки обязывающих к ответственной

---

**От редакции.** Мы публикуем две статьи о «Саге о носорогах» Владимира Максимова. Столь пристальное внимание объясняется тем, что «Сага» приобрела характер определенного рода, жесткой журнальной платформы на тему «Мы и Запад». Очевидно, и сам автор придает этой вещи исключительное значение — боевой программы или декларации, напечатав ее трижды по-русски («Новое Русское Слово», «Русская Мысль», «Континент») и сопроводив рядом подкрепляющих выступлений («Сага о саге» и др.). Высказана эта декларация не просто от частного лица — писателя В. Максимова, но

правдивости; а то... «Умоляю читателя не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров... Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях.. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий...» В самом деле, удивительный жанр: и понятно и непонятно. И то и не то. Как говорилось в одном фельетоне: «Мы сидели в Севастополе на берегу энского моря». Назвать море нельзя — военная тайна.

К этому жанру присоединил свое сочинение и Владимир Максимов. В его «Саге о носорогах» более двадцати персонажей, все — загадочные. Кроме разве что собеседника, который в тексте назван Эженом; можно без труда догадаться, кто этот Эжен, когда-то придумавший носорогов, которых теперь заимствует у него Максимов. Правда, изображен он более, чем странно: «*...одинокий человек в свитере, который чудится мне белой тогой с малиновым подбоем*». Свитер — тогой? К тому же мы помним, откуда цитата: «в белом плаще с кровавым подбоем» появлялся у Булгакова прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Но при чем тут Эжен? Он, что ли, Христа казнил? Или он — прокуратор? Красиво, но не слишком

---

как бы от широкого круга советских диссидентов На материале «Саги» и попутно с ней, действительно, возникает ряд принципиальных вопросов. Зачем мы на Западе? Каково наше отношение к западной демократии и к западной интеллигенции? На каком языке разговариваем мы с миром? Вокруг «Саги», мы знаем, ведутся горячие споры, не получившие, однако, отражения в эмигрантской периодике Всё это, естественно, вызвало необходимость более свободного обсуждения этой вещи и связанных с нею проблем.

Цитаты из «Саги» набраны курсивом.

мотивированно. Идеи, проповедуемые римским патрицием в свитере, не менее странны: *« Ах, мсье Максимов... никакой классовой борьбы в природе не существует, вот уже сотни лет в мире происходит единственная смертельная борьба — между крупной и мелкой буржуазией...»* Вот на, а крупная и мелкая буржуазия — не классы? И почему — если уж признавать реальность классовой борьбы, если уж... — почему сводить ее к столкновению именно этих классов? С такого произвольного, никак и ничем не объясненного утверждения начинает Максимов свою « Сагу ». Впрочем, по дороге он частично от себя, частично от « Эжена », смазывает Францию, обличая *« социальную стадность западной интеллектуальной элиты »* и даже ее президента *« с замашками либерального аристократа »*, который, дескать, *« быстро нашел общий язык »* с *« вьетнамским палачом, еще не отмывшим с рук крови соотечественников »*.

Этим плевком в сторону Франции *(« диктатура социального снобизма »)* и ее президента начинается « Сага ». А дальше идут двадцать « загадочных портретов », — не таких уж загадочных. Автор не называет своих героев — для безнаказанности. В самом деле, представим себе на миг, что старый врач, посмевший в застольной беседе с автором выразить озабоченность судьбой душевнобольных на Западе, был бы прямо назван по имени... А сказано про него: *« взбесившийся от переизбытка обильной жратвы господин четвероногий »*. Что бы он сделал? Подумать страшно. Или вот некая дама — секретарь Комитета Прав человека, которая якобы принадлежит к числу

*« носорогов-стукачей, бывших на подножном корму у советского гестапо »*. Неужели она не подала бы в суд? А так — так автор защищен. Он мужественно оплевывает своих противников, они же бессильны. Даже видный немецкий политик не сможет защищаться, хотя он облит всеми возможными помоями: и пьяница он, и бабник, и главная его работа — *« по окончательному преобразованию европейской социал-демократии в услужливую разновидность еврокоммунизма »*, и в Москве якшается с одними палачами; всё тут есть, от сплетни до политической диффамации. Но — не назван никто. Хотя много ли среди немецких политиков лауреатов нобелевской премии мира?

Я пишу обо всем этом с оттенком иронии. Но такой тон неуместен. Я взялся за перо (которым обычно пользуюсь для других жанров) не для того, чтобы иронизировать, а чтобы выразить — ужас.

**Ужас перед безответственностью.** Можно позволить себе сказать про французскую общественную деятельницу, что она — стукач, агент *« советского гестапо »*, не затрудняя себя доказательствами. И про русскую поэтессу, которую только что с симпатией принимали в Париже, — например, в битком набитом зале Института славяноведения, где ей горячо аплодировали французские профессора и русские эмигранты; про них у Максимова сказано: *« Зарубежные сородичи ее по тучным пастбищам графоманства умильно стучат копытами... »* А ведь в зале были все слависты Парижа — и все они стучали копытами, и *« в их пожизненно задубевших лбах »* не было подозре-

ний.

**Ужас перед безнаказанностью.** Оказывается, можно в нескольких газетах сразу Европы и Америки вывалять в нечистотах писателей, директора издательства, главного редактора крупного немецкого еженедельника, издательницу знаменитой «Ди Цайт», председателя правящей в Германии партии, двух русских поэтов, виднейшего немецкого прозаика, нобелевского лауреата... Можно, — достаточно не называть имен.

**Ужас перед ненавистью.** Это то, что поражает больше всего — ненависть. Ею клокочет каждая строка этой удивительной «Саги». О священнике, стремящемся сблизить христианство с марксизмом, сказано, что «*все науки превзошел парнокопытный, во всем разбирается, даже в дерьме*». Об упомянутом политике — что он «*перековавшийся на голубя мира ястреб холодной войны*». О французском журналисте — что он «*повторяет зады Смердякова и Геббельса*». О муже русской поэтессы — что он «*из конюшен московского бомонда*». О крупнейшем прозаике Германии (и мира) — что он «*закаменевшая во лбу особь*», которая жаждет «*делить чужой хлеб... с помощью автоматов и наручников*».

Спор с немецким писателем занимает важное место в «Саге». Будто бы этот собеседник («*Знаменит. Увенчан. Усеян (?)*») позволил себе заявить Максимову, что «*в мире много страданий и горя, кроме вашего*», что кровь льется и в Чили, и в Южной Африке, и что писатель борется за справедливость повсюду на свете. Убей меня Бог, не пойму, что тут вызывает негодование Максимова: разве и в самом деле ничего дурного не

происходит в Чили и Аргентине? Максимов же на слова писателя реагирует следующей иронической фразой (вслух не произнесенной): *«Вот каково ему сейчас в роскошной квартире с его скорбящей душой, когда* **кровожадные плантаторы лишают несчастных папуасов их доли кокосовых орехов!»** Если бы Максимов только эту фразу написал вместо всей своей «Саги», я бы и тогда взорвался негодованием. Как, русский писатель позволяет себе иронизировать над папуасами? Заявляет, что грабеж в Африке — ничто? Я думаю, что В. Максимов не хотел сказать того, что здесь у него в запальчивости сказалось. Как не хотел он, вероятно, оскорбить многие миллионы жертв нацизма, заявив, что, по сравнению с коммунизмом, *«все гитлеровские злодеяния кажутся теперь* **жалкими потугами** *истерических подражателей»*. Это взвешивание на каких-то абстрактных весах бедствий разных народов мне представляется занятием пустым и вредным. И для всех — оскорбительным. Освенцим — это «жалкие потуги»? Или судьба евреев нам так же безразлична, как судьба папуасов? Думаю, что все это неудачные формулировки, продиктованные ненавистью.

Ненавистью дышит весь текст Максимова. К кому же? К тем, кого он называет заплечных дел мастерами, людоедами, палачами? Нет, не против них направлена его «Сага», а против либералов, «интеллектуалов», против *«социальной стадности западной интеллектуальной элиты»*. Против интеллигенции. Те, кого Максимов именует носорогами, составляют половину Германии, половину Франции, половину Италии, поло-

вину Англии. Что же он предлагает с ними делать? «*...я не могу, не хочу и не намерен принять политический плюрализм, который включает в себя прошлых, нынешних или предстоящих заплечных дел мастеров...*» — восклицает В. Максимов. Иначе говоря, он отвергает плюрализм, «*который включает в себя*», например, Вилли Брандта и Генриха Белля, и даже — даже французского президента «*с либеральными замашками*». Максимовская «Сага» имеет целью объяснить нам, что все эти персонажи — носороги. А носороги — это ведь и есть «*прошлые, настоящие или будущие заплечных дел мастера*». Мы за «демократию» — но для нас, а не для них. Они — носороги. А с ними — что же делать? На пенсию? В лагеря? В расход?

Я испытываю ужас перед этой проповедью ненависти. В. Максимов постоянно говорит о своем христианстве. Он редактирует журнал, называющий себя «религиозным». Это вот и есть — христианство?

Для каждого из нас главное — найти в других то, что может нас всех сблизить между собой. Каждому из нас ненавистны КГБ и партийная бюрократия, советская несвобода и ложь тоталитарной пропаганды. У нынешних немцев другие проблемы; почему же руководитель русского журнала, издающегося в Германии, вызывает в читателях ненависть к «интеллектуалам» Германии? Ненависть одних русских к другим? Взгляды наши различны: одни из нас православные, другие верующие евреи, третьи атеисты; одни монархисты, другие — республиканцы; одни настроены националистически, другие — космопо-

литы или западники. Случилось так, что у одной из этих групп больше финансово-издательских возможностей, нежели у других. Значит ли это, что другие подлежат презрению, ненависти и истреблению? В. Максимов с яростью нападает на тех, кто (как он оскорбительно бросает) *« поплоше, но посмекалистее »; « Вчерашние религиозные неофиты, принципиальные противники однопартийной системы и организованной экономики, отчаянные сионисты, вдруг оборачиваются здесь закоренелыми неомарксистами, сторонниками "третьего пути", горячими поклонниками дела палестинского освобождения »*. О ком он говорит — непонятно; но, насколько я себе представляю, сторонники « третьего пути » ничуть не противники многопартийной системы. Да и вообще — такой ли это позор, придерживаться других взглядов, чем В. Максимов?

« Сага » обладает удивительным свойством — в ней соединяются агрессивность и сентиментальный тон, бьющий на жалость. Агрессивность мы видели. Сентиментальный тон связан с признанием своего обреченного одиночества: нас мало (*« Вашу руку, Эжен, мы вместе падем под их копытами... »*), нас теснят со всех сторон бешеные носороги, а еще *« оттуда, со стороны тех, кому привык верить и на кого надеяться »*, несутся возгласы неодобрения: *« не то, не так, не туда! »*. Но ведь я, Максимов, не один такой, рядом со мной Володя, Толя, Наташа, Эмма, Эрик, Вика, Саша, — *« люди, которых, хочу надеяться, вы, как и прежде, любите »*. Зачем все эти соратники названы, да еще детски-уменьшительными именами? Чтобы подчеркнуть свою близость с ними?

Все эти « Володи », « Толи » ни о чем не свидетельствуют, кроме дурного вкуса. Можно ли вообразить, чтобы Пушкин печатно называл Баратынского Женей, Огарев Герцена — Шуриком? Так вот, с одной стороны грозная атака на парнокопытных и четвероногих противников, с другой — слезливый призыв к сочувствию, инфантильная апелляция к великовозрастным мальчикам и девочкам. Все это прежде всего очень слабо литературно, — автор многих книг мог бы задуматься хотя бы над этим горестным фактом и не настаивать на дальнейшем печатании неудачной и недостойной вещи, выставляющей самого сочинителя в неприглядном свете. Бедный, одинокий Максимов : его и « оттуда » попрекают, и « здесь » корят. И вокруг дикий топот разъяренных носорогов : *« Рог к рогу. Ноздря к ноздре. Слюна с пеной веером. Ломятся, каре на каре, смыкаясь в кольцо »*. Все это игра воображения, все это — бред. Ни В. Максимову, ни журналу « Континент », ни делу защиты прав человека не угрожают стада носорогов. Угрожает взаимная ненависть, которая поднимет первую эмиграцию на третью, третью на вторую, православных на евреев, правых на левых, молодых на старых, французов на русских, Восток на Запад... Зерна всех ненавистей содержатся в « Саге о носорогах ». Поэтому я все-таки надеюсь, что В. Максимов ограничится опубликованием этой вещи в двух русских газетах (и то — случай почти беспрецедентный !), а редакция « Континента » на сей раз проявит самостоятельность и воспрепятствует появлению « Саги » на страницах журнала. Ничто так не подорвет авторитет « Континента »

в СССР, как публикация этого произведения, разжигающего взаимную озлобленность и по существу посвященного чужим внутриполитическим проблемам.

**
*

Прошло несколько месяцев, и вот я возвращаюсь к « Саге о носорогах ». Нет, не потому, что придаю этому сочинению большой литературный вес, а по иной причине, тоже по-своему веской : мой отклик на « Сагу » не нашел себе издателя. И я хочу, чтобы читатель об этом знал и трезво оценивал реальную свободу западнорусской печати. Начал я с того, что послал статью « Наука ненависти » в « Русскую мысль » — было это в феврале 1979 года, когда газета только что напечатала « Сагу ». Ответ пришел довольно скоро; в нем говорилось : « ...к сожалению, никак не сможем напечатать **Науку ненависти.** Зачем ее еще больше разжигать ? Вот если бы хоть кто-то написал о науке любви... » Я удивился : разве же это я разжигаю ненависть ? Смысл моего отклика был : остановить такое разжигание и по мере моих сил воспрепятствовать появлению « Саги » в журнале « Континент », — именно для того, чтобы локализовать пожар. Оказалось, что сею ненависть — я. Что же до « науки любви », то таковую в свое время уже написал Овидий, и мне не к лицу за это браться. Говоря серьезно, ответ был странный и, как говорится, неадекватный. К тому же он был неофициален, — я попросил мотивированного отказа. И вот что мне написали (на сей раз уже без околичностей) :

« Многоуважаемый Ефим Григорьевич,

к сожалению, мы не сможем напечатать Вашу статью "Урок ненависти". Прежде всего, она слишком велика — 8 страниц! Для нашей газеты это слишком много. Затем, это вызовет новые ответы и быть может столь же обширные, что уже совершенно дезорганизует газету. Наконец, на "Встрече трех эмиграций" было высказано почти все, что можно было возразить Максимову.

С совершенным почтением

С. Милорадович.

Я оценил деликатное «к сожалению» (как и в том первом, почти частном письме) ...«К сожалению» — в каком же смысле? Велика? Дезорганизует газету? Достаточно проглядеть «Русскую мысль», чтобы убедиться: газета публикует огромные материалы, если они соответствуют ее вкусам; так что не в размерах дело. А уж третий довод — анекдотический: «всё, что можно было возразить Максимову» будто бы сказано на «Встрече»... Разве на упомянутой «встрече» были все читатели газеты, — во всех странах мира, — все, кто читал «Сагу о носорогах» и кто нуждался в оценке, содержащейся в моей статье? На «встрече» было человек 300, а ведь у газеты читателей раз в десять-двадцать больше. Кроме того, как же редактор газеты позволяет себе утверждать, что на той «встрече» было высказано «почти всё, что можно было возразить Максимову» — и таким безапелляционным суждением подменять живое общественное мнение? «Русская мысль» — газета независимая или партийная? Если бы я получил такое предвзятое письмо от «Юманите», я бы не удивился: «Юманите» и не претендует на беспристрастность. Но

свободная внепартийная « Русская мысль »...

Тогда я послал свою статью в « Новое Русское Слово ». Ответ пришел быстро. Вот он :

« Многоуважаемый Господин Эткинд !

Ваша статья не подходит для « Нового Русского Слова » ни по содержанию, ни по форме.

С уважением

Андрей Седых ».

Лаконично и твердо. Никаких старомодных « к сожалению », никаких предложений написать « науку любви »... Американская деловитость. И все же — загадочно : что это значит ? Или редактор газеты заранее знает, о чем следует писать, о чем нет ? И это он называет « свободой печати » ? А что значит — « по форме » ? Надо было — в стихах ? Или — в диалогах ? Или — вежливее ? Или, наоборот, в стиле « Саги о носорогах » ? Тогда бы А. Седых, может быть, охотно опубликовал — сказано было бы примерно в следующей форме :

« Стоило бы так же запереть тебя, взбесившийся от переизбытка обильной жратвы господин четвероногий, в лагерь усиленного режима, где абсолютно свободные от всякого ухода умалишенные сделали бы тебя пассивным... » и т. д. « Перманентно перед или после запоя... » « Кипит благородным возмущеньем. Разоблачает. Клеймит. Кого ? Кого угодно, кроме собственных носорогов в штатском... » и т. д. Такой стиль полемики Вам больше по душе, господин Андрей Седых ? Именно это Вы имеете в виду, когда требуете от меня иной « формы » ?

Неправда ли, яркий пример одностороннего движения ? Ехать можно только в одном направ-

лении — цензурный « кирпич » перекрывает улицу. Всё, противоречащее точке зрения В. Максимова, газетам не подходит « как по содержанию, так и по форме ».

Удивительно, впрочем, не это, а вот что. В Максимов, который монополизировал западнорусские газеты, плачется на свою судьбу, сетуя, что попал он « *из огня, да в полымя... Стоило уносить ноги от диктатуры государственной, чтобы сделаться мальчиком для битья при диктатуре социального снобизма? В известном смысле все то же самое: цензура, деление на своих и чужих, издательский и критический бойкот, конформизм наизнанку...* » Это пишу не я, это жалуется всесильный Максимов — жалуется на « цензуру ». Ничего не пойму, — что это значит? Писатель, который выпустил собрание сочинений в шести томах, да еще каждое произведение отдельно, вне этого собрания сочинений; все вещи которого переводятся на разные языки, чей журнал поддерживается интеллигенцией многих стран Европы и Америки (см. список редколлегии) — этот самый писатель жалуется на « *цензуру, деление на своих и чужих, издательский и критический бойкот* ». Этот самый писатель позволяет себе сетовать на « *душевную глухоту, идеологическую ограниченность, социальную стадность западной интеллектуальной элиты* »? Да эта презираемая им « элита » позволила ему подняться до многотомного автора, до необыкновенной известноти, до почти монопольной власти — а он все недоволен !..

В. Максимов создает легенду несчастного, всеми травимого, отданного в жертву бешеным носоро-

гам мученика; ему эта легенда нужна, чтобы прикрыть собственный терроризм. Не он травит, а его. Пора легенду развеять, да и вообще — миф о Максимове-мученике, а заодно и о Максимове... публицисте.

Присмотримся к его полемическому искусству. Это потребует известной (может быть, утомительной) пристальности. Остановлюсь на первом абзаце «Саги о саге». Вот начальная фраза:

«*Честно говоря, без литературного кокетства, я полагал, что тема моего очерка, фельетона или памфлета, назовите, как хотите, исчерпывалась уже самою той формой, в которую была заключена, и той манерой, в какой она была написана*».

Мы читаем бегло, не замечая даже абсурдности текста, если автор витевато-категоричен. Между тем, в этой фразе содержится два утверждения; одно из них сомнительно, другое — абсурдно. Сомнительное относится к жанру: чем же является произведение, о котором ведется речь — сагой, очерком, фельетоном, памфлетом? В. Максимов предлагает нам четыре жанровые обозначения на выбор. Первое из них, *сага* — вовсе не при чем, да автор на нем и не настаивает; он просто любит это непонятное и кокетливое словцо; ведь еще в начале своего пути он написал «Сагу о Савве», которую, после журнала «Октябрь» перепечатал на Западе в своем первом томе (и это — несмотря на издательский бойкот!). От «Саги о Савве» до «Саги о саге»... Словом, никакая это не сага. Очерк? Почему очерк? Достаточно сравнить писание Максимова с теми произведениями, которые принято считать очерками — с вещами Даля, Панаева, Н.Некра-

сова, Г. Успенского, а позднее Овечкина и Троепольского, — чтобы убедиться : непохоже. Да и на фельетон тоже непохоже. Памфлет ? (Смешнее всего, что нам предложен выбор между очерком и памфлетом !) Может быть. Но памфлет не только содержит резкое обличенье каких-то социальных фактов или деятелей, он должен быть основан на реальности; если памфлетная по форме вещь содержит обличения ложные, она приобретает другое название : **пасквиль.** Жанр пасквиля тоже существует, но на иных правах, чем узаконенные литературные жанры. В. Максимов предложил нам на выбор — очерк, фельетон и памфлет. На самом деле выбор предстоит другой : памфлет или пасквиль ? Если обличение подтверждено доказательствами — памфлет. Если оно бездоказательно и даже лживо — пасквиль.

Утверждаю со всей категоричностью : почти все « обличения » в максимовской « саге » — фантастичны. Так, нелеп и безобразен портрет Генриха Белля, который будто бы известен « *разборчивой отзывчивостью и слабостью к социальному терроризму* », лицемерно скорбит о малых сих в своей « *роскошной квартире* » и жаждет « *делить чужой* [хлеб]... с *помощью автоматов и наручников* ». Пусть на писательской совести Максимова остается этот образ — « *делить с помощью ...наручников* » ? Я же замечу, что всё, сказанное тут, несправедливо. « *Разборчивая отзывчивость* » ? И это о человеке, который много лет подряд всеми доступными ему средствами помогает советским диссидентам и воюет за них ! Вот перечень лишь нескольких выступлений Белля за пять лет : статья об « Архипелаге Гулаге » Солженицына (« Не-

бесная горечь Александра Солженицына », 1974), о « Бодался теленок с дубом » того же автора (1976), о повседневной жизни советских людей (« Могут ли русские смеяться », 1976), о живописи Бориса Биргера, о творчестве и судьбе Льва Копелева, о двух романах Юрия Трифонова, телеграммы Брежневу о жертвах режима, интервью об аресте Андрея Амальрика (1973), об изгнании Солженицына (1974), о нобелевской премии Сахарова (1975), о восточно-европейских диссидентах (1975), некролог об убийстве К. Богатырева, о Солженицыне и Западе (1976) и т. д. Во всех этих выступлениях позиция Белля недвусмысленна — он поборник демократии, социальной справедливости, расового и национального равенства, мирного решения самых, казалось бы, неразрешимых проблем, плодотворного культурного сотрудничества. Правда, ему приходилось весьма критически высказываться о деятельности В. Максимова; так, в интервью 12 ноября 1974 года он с удивлением констатировал, что Максимов участвует в чисто-немецких делах: « Максимов связывает себя внутриполитически. Он — один из основателей « Союза Свободной Германии », который ведь называется не « Союз Свободной России »... Это, разумеется, его право, никто этого права не оспаривает, но это — вмешательство в наши внутренние дела... »

Белль спорит с утверждениями Максимова, будто бы человек нуждается не в политической свободе, а только и исключительно в духовной; само по себе стремление к свободе политической для В. Максимова уже свидетельствует о « левых » настроениях. Такая категоричность понят-

на, заключает Белль, она вызвана своеобразной « материалистической метафизикой », которая заменила небо — землей. Белль продолжает : « Если начать осуждать как проявление « левизны » всякую надежду на улучшение социальных обстоятельств, и если не видеть ничего дурного в (очень различных) социальных, расовых и экономических взаимоотношениях в Северной и Южной Америках, — тогда обнаружится опасность абстрактно-метафизического утешительства ». Белль размышляет и призывает к размышлению; он в самом деле задумывается над тем, что в мире много зла и что нельзя забывать об одних и помнить о других : « Если считать ужасы сталинизма единственным масштабом для страданий в мире, тогда Чили покажется мелочью, как и проблемы Франции, Англии, Италии, ФРГ, США, всей Южной Америки. Ни индуску, которая боится, что из ее 14 детей трое или пятеро умрут от голода, ни бездомного из Кёльна или Берлина не утешат ужасы сталинизма ». (Белль, Собр. соч. том X, Интервью 1961-1978, стр. 302). В. Максимов почти цитирует почти эти слова, и вот в каком изложении : *« Да, да, — мямлит он* (Белль) *расслабленными губами, — конечно, но вы не должны замыкаться в своих проблемах. В мире много страданий и горя, кроме ваших. Нельзя объяснить многодетной индусской женщине ее нищету феноменами ГУЛага... »* и т. д. Для чего цитирует ? Чтобы сделать вывод о том, что Белль будто бы мечтает... надеть на человечество наручники. Чтобы выставить Белля в комичном, даже идиотском виде : *« Тих, вкрадчив, с постоянной полуулыбкой на бесформенном бабьем лице . Глаза... телячьи...*

*мямлит... Бабье лицо каменеет...* »

Между тем, мимо того, что творится в СССР, Белль не проходит : « Ахматова, Пастернак, Солженицын, Войнович, Корнилов, Копелев — когда же этот Союз наконец-то « исключит » самого себя ? » — восклицает он в письме Виктору Ворошильскому (1977; там же, стр. 458). Для нашей общей борьбы с деспотизмом и антикультурой заслуги Белля — неоценимы. В. Максимов не только их игнорирует, он изображает Белля в виде гадкого лицемера.

Ну, ладно, Белль написан желчью, но почти без фактических искажений (если не считать описания его внешности, исполненного ненависти, и слов « роскошная квартира » — Г. Белль живет скромнее многих советских писателей в Москве и бывших советских — на Западе). А другие ? Про видную французскую деятельницу, близкую к левым кругам (а так же к А. Сахарову), Максимов позволяет себе следующий риторический вопрос : « *Интересно бы знать заранее, каким диалектическим манером сумеет вывернуться она, когда ее наконец приведут с кольцом в ноздре в следственное стойло, где будут разбираться дела носорогов-стукачей, бывших на подножном корму у советского гестапо* ? » Выписывать эти строки тошно, однако необходимо. Так это что, тоже — памфлет ? Или об издательнице еженедельника « Ди Цайт » — будто бы она « *из русского инакомыслия признает только инакомыслие с полицейским оттенком* ». Это тоже — памфлет ? « Ди Цайт » публиковала впервые интервью с Амальриком, Копелевым (и главы его книги), Синявским, в ней писалось о Литвинове, Шрагине, Не-

криче; и это все — «*инакомыслие с полицейским оттенком*»? И это тоже памфлет? В другом месте «Саги» о Белле Ахмадулиной и ее муже говорится без всяких околичностей и попыток доказательства, что они — агенты КГБ. И все это тоже — памфлет? А по-моему это — брань, оскорбления, клевета. Одним словом — пасквиль.

Вернусь к первой фразе «Саги о саге». До сих пор я говорил лишь о ее, этой фразы, начале — о жанровой проблеме. Но ведь дальше сказано, что автор полагал, будто «*тема... исчерпывалась уже самою той формой, в которую была заключена, и той манерой, в какой она была написана*». Что сие значит? Можно облить помоями два десятка уважаемых людей, назвав их палачами или помощниками палачей, агентами гестапо или КГБ, и полагать, что «*тема исчерпана... той манерой, в которой она... написана*»? Что это вообще такое: «тема исчерпана манерой»? К тому же заметьте: «той манерой, в которой она (тема) написана...»

Нет, автор «Саги о носорогах» ошибся: его тема не исчерпана «*самою той формой, в которую была заключена*», — разговор идет серьезный. Запад, к счастью, еще существует, и свобода печати тоже.

---

**Эткинд, Ефим Григорьевич** — родился в 1918 году. Окончил Ленинградский университет, участвовал в войне на Карельском и 3-ем Украинском фронтах, затем преподавал в ленинградских вузах; с 1952 по 1974 год был доцентом, потом профессором Ленинградского педагогического института имени Герцена. Уволенный с работы, лишенный ученых степеней и званий, в 1974 г. был вынужден уехать. Ныне — профессор Парижского университета.

**Б. Шрагин**

## СИНДРОМ «НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»

### I.

«*Если хотите,* — говорит Максимов в "Саге о саге», — *в маленькой истории с моим очерком* (имеется в виду "Сага о носорогах" — Б.Ш.), *фельетоном, памфлетом (назовите по выбору), как в капле воды, отразились борения и мутации нашего смутного времени*».

Хорошо. Хотим. Только от приглашения «называть по выбору» я воздержусь.

«Сага о носорогах» составлена из кратких поношений. В центре каждого — какая-нибудь паскудная личность, собственное имя которой не указано автором, но которую информированный и потершийся в кругах читатель может узнать по прозрачным намекам. Мне это удалось лишь отчасти. Но и тем, что узналось, — спасибо, сыт.

Композиция нанизанных один за другим эпизодов однотипна. Все персонажи высказывают что-нибудь глупое, или циничное, или лицемерное в ответ на умные, искренние и честные речения Максимова. Их высказывания срабатывают, как пусковые механизмы авторского гнева.

По «Саге о носорогах», например, некий «*Киноартист. Режиссер. Деятель. Наследник Станиславского. Перманентно до или после запоя*» (кто бы это?) вещал на пресс-конференции в Сан-Франциско: «*Мы энтих Картеров, которые принимают в своих белых домах каких-то там дисси-*

*дентов, интеллигентов не знаем и знать не хочем... — В общем, хинди-руси, бхай-бхай*».

«Наследник Станиславского» не мог говорить ни «энтих», ни «хочем», ни «бхай-бхай» даже во время запоя. Но что же тогда было на самом деле сказано в Сан-Франциско?

Догадка, что тут какая-то отсебятина, укрепляется, когда вспоминаешь, что несколькими строками выше некий «*в прошлом белый генерал*» пользовался у Максимова той же лексикой: «*...не то что энти самые босяки, как их, туды растуды, диссиденты!..*» Насчет «туды-растуды» в устах старого вояки поручиться трудно. Однако, даю гарантию, что и он не говорил «энтих». Словечко это, очевидно, взято с публицистической палитры Максимова, который не балует читателя разнообразием красок.

Один из ненавистных ему собеседников говорит: «*у меня есть мнение, и вы, пожалуйста, не путайте меня вашими фактами*». Другой поучает его: «*Что вы все кипятитесь: правда, правда! Если есть право на правду, значит, есть право на ложь*». В ответ на замечание Максимова, что тот оклеветал в своем журнале некоего «почтенного профессора», третий возражает: «*Не волнуйтесь, это такая правая сволочь, что о нем все можно*».

Создается впечатление, будто автор «Саги о носорогах» играет со своими антагонистами в шашки, а они с ним — в поддавки. Ненависть его неподдельна, но трудно поверить ее праведности.

В «Дневнике писателя» Достоевский рассказал анекдот про то, как однажды Белинский, еще не

остывши от написанного, прочел Герцену свой «Разговор между господином А. и господином Б». Один из собеседников, сам Белинский, был умен, а другой поплоше. Выслушав, Герцен сказал: «Да хорошо-то хорошо, но только охота тебе была с таким дуралеем время терять».

Допустим, у Белинского получился писательский просчет. Но персонажи «Саги о носорогах», — как предполагается, не скверно сочиненные фикции. Они, как будто бы, писаны с натуры. И охота Максимову с ними время терять! Ведь они у него не только глупы и циничны, но и с виду так отвратительны, что с души воротит. У одного «*чувственные губы*», у другого «*бабье лицо*» и «*бараньи глаза*», у третьего «*картинная выправка эсэсовского офицера*», у четвертого (какая мерзость!) «*вывернутые ноздри интеллектуала*», а у одной дамы «*полное единство формы и содержания: всем природа обделила, как Бог черепаху*».

И все же, судя по «Саге о носорогах», Максимов сидит у них в гостях, угощается их обедами, беседует с ними в уютных кафе и маленьких ресторанчиках, хватает за фалды на улице, чтобы хоть словечком перекинуться.

Что Максимову надо от этой банды бабников, пьяниц, педерастов, палачей, стукачей и шпионов, бывших эсэсовцев и нынешних коммунистов?

«*Рог к рогу. Ноздря к ноздре. Слюна с пеной — веером. Ломятся, каре на каре, смыкаясь в кольцо*». Так говорит Максимов. Но впечатление как раз обратное: это он сам, со всей силы разбежавшись, налетает на людей, которым до него дела нет

Тут — не плохая проза, а сама жизнь писателя, как бы списанная с плохой прозы.

II.

Контрастом к паноптикуму моральных и физических уродов работает одинокий положительный герой «Саги о носорогах». Он, согласно благодарному свидетельству автора, «*молча, не перебивая*» (разрядка моя — Б.Ш.), выслушивает его. Понятно, и внешность у него патрицианская: «*к такому бы лицу, да белую тогу с малиновым подбоем, а не свитер, который, впрочем, тоже сидит на нем царственно*».

Мир «Саги о носорогах» — манихейский. Он поделен на две половины: на тех, добрых, мудрых и красивых, кто Максимова слушает и ему поддакивает, и тех, злых, глупых и уродливых, кто — нет. Зло, увы, одерживает верх. Зло разрастается.

Уже не только «западная интеллектуальная элита» (что с нее спрашивать?), но и свой брат, недавний эмигрант, — туда же: «*разумеется, из тех, кто поплоше, но посмекалистее*». «*Писатели без книг, философы без идей, политики без мировоззрения, они сделали моральную эластичность своей профессией...*» Но, представьте только, их слушают, а Максимова — опять же нет. И, очевидно, именно потому, что он — писатель с книгами, философ с идеями, политик с мировоззрением.

В мире «Саги о носорогах», по его логике, главными врагами человечества должны оказаться те, кого слушают. Поэтому первое место среди ненавистников автора досталось отечественным

писателям и деятелям культуры, которых иногда пускают в заграничную поездку.

Как отделан «наследник Станиславского», мы уже видели. А вот: «*Поэтесса. Работает под испуганную девочку, хотя уже за сорок. Ни одного слова в простоте. Все с ужимочками, гримасками, придыханием. Совершает вояж по городам и весям Старого и Нового света, в сопровождении очередного мужа, мрачноватого субъекта, из конюшен московского бомонда. Говорит — она, он — помалкивает, посматривает, примечает, по правилу: сначала — дело, потом — удовольствие. Служба есть служба.*

*— Я далека от политики, — томно выгибается она, пытаясь пластически изобразить бездны своей аполитичности, — моя стихия — поэзия.*

*Может быть, тем не менее, это не мешает ей водить своего оруженосца на все эмигрантские посиделки, включая самые воинственные. Впрочем, это еще вопрос, кто из них кого водит.*

*Зарубежные сородичи ее по тучным пастбищам графоманства умильно стучат копытами: какая возвышенность! какая чистота души! какая поэ-зия! браво! И в их пожизненно задубевших лбах уже нет места для самой простенькой очевидности: как, каким манером это неземное создание сорока с лишним лет от роду ухитряется при советском паспорте с ограниченной визой во Францию обпархать добрую треть западного полушария в сопровождении семейного искусствоведа с офицерской выправкой?*»

Наконец, мир вовсе свихивается с оси, когда Максимова перестают слушать и слушаться **там**, те самые, кого он кооптировал в свои единомышленники. Их и стукачами не объявишь, и амо-

ралка к ним не пришивается, и на их « эластичность » не сошлешься. « *И поэтому вдвойне горше и обидней, когда в яростном кольце этого носорожьего фронта, оттуда, кому привык верить и на кого надеяться, вместо слов поддержки только и слышишь: не то, не так, не туда* ».

Теперь должен согласиться всякий, что в « Саге о носорогах », « *как в капле воды, отразились борения и мутации нашего смутного времени* ». Никак не меньше.

Впрочем, любезный друг-патриций поставил вопрос шире. Он раскрыл Максимову всемирно-исторический смысл его коллизии. Оказывается, « *вот уже сотни лет в мире происходит единственная смертельная борьба — между крупной и мелкой буржуазией* ». « *Буржуа своими вставными челюстями перемололи себе на потребу все самое лучшее и святое, что выстрадано человечеством: свободу, культуру, религию* ». Лишь на Максимове, видимо, временно поперхнулись.

Буржуазия существует уже сотни лет. Столь же давно был достигнут прогресс зубоврачебной техники, завершенный протезом челюстей. В крестьянских войнах, при свержении монархий, при всех революциях и крушениях империй, за их кулисами крупные буржуа интриговали против мелких, как и наоборот.

Только откуда бы « Эжену », французу, подцепить, запомнить именно в авторитетном переводе Института Маркса-Энгельса-Ленина на русский язык и, по автоматизму памяти, переврать цитату из ненавистного ему классика: « *буржуа-лавочник и буржуа-интеллектуал ничем не отличаются...* » ? 1) Шут с ними, с интеллектуалами. За-

висть к ним стара, как антисемитизм. Но чем же нашему французу лавочники не угодили, будто застряли у него в подсознании уравнительские увлечения и вульгарно-социологические пошлости советского НЭПа?

И откуда бы французу взять выражение «*московские эстеты в штатском*», которое, очевидно, перефразирует нашу отечественную хохму про «искусствоведов в штатском»? Как я уже имел повод отметить, памфлетист Максимов не заботится о характерности речи своих всамделишных персонажей.

А может, все проще и мировая история тут ни при чем? Может быть, действительно, — «*не то, не так, не туда*»?

## III.

«*Ты ему про конкретные факты, а он тебе про угнетенных Африки...*» — пишет Максимов в «Саге о носорогах». А разве про угнетенных в Африке — не конкретные факты?

Итак, факты!

В «Континенте» Максимов обличал: «Что станут говорить они теперь, эти ревнители свободы и гуманизма, за кого и во имя чего поднимать крик на весь мир, когда все, повторяем, в с е (разрядка Максимова — Б.Ш.) политические заключенные в Греции и Чили уже освобожде-

---

1) Ср.: «Точно так же не следует думать, что демократические представители — shopkeepers (лавочники) или поклонники лавочников. По своему образованию и индивидуальному положению они могут быть далеки от лавочников, как небо от земли» и т. д. (К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Сочинения, т. VIII, стр. 349-350).

ны » 2).

Это писалось в начале 1975 года. А в конце 1976 года Луиса Карвалана обменяли на Владимира Буковского. Согласно отчету « Международной Амнистии », в том же году еще было выпущено в Чили более 300 политических заключенных, а 17 из них выслано из страны. Согласно тому же отчету, в 1976 году было арестовано в Чили по политическим мотивам более 500 человек, причем к маю 1977 года о 20 % из них не поступило никаких сведений 3). По великолепному обыкновению режима Пиночета, они исчезли бесследно.

Не будь « этих ревнителей свободы и гуманизма », не подними они « крик на весь мир », освобожденные ныне жертвы политического террора в Чили все бы еще сидели. Но сидел бы и Владимир Буковский, которого не на кого было бы сменять.

Максимов имеет обыкновение жать на педаль именно в тех местах, где сообщает нечто безответственное. По этому стилистическому приему его сразу узнаешь и без подписи.

Так, на первой же странице первого номера « Континента » читаем : « Журнал Герцена (имеется в виду « Колокол » — Б.Ш.) был чисто *политическим,* а не литературным изданием по той простой причине, что в « темные времена реакционного царизма » в России родилась и *беспрепятственно* развивалась одна из лучших литератур человечества... Все сколько-нибудь заметные отечественные писатели, мы подчеркиваем, все

---

2) « Континент », № 2, стр. 468-469.

3) См. Amnesty International « Report 1977 London. 1977, стр. 130-133.

(разрядка в тексте — Б.Ш.) печатались у себя на родине » 4).

« Континент » начал с полуправды. « Колокол », действительно, был политическим изданием, чего нельзя сказать столь же категорически о герценовской « Полярной звезде ». Там, через десятилетия после их написания, впервые были полностью напечатаны ода Пушкина « Вольность », его же « Деревня », « Послание в Сибирь », « К Чаадаеву », « На смерть поэта » Лермонтова и многое другое. В « Полярной звезде » была напечатана и такая как-никак « заметная » в русской литературе книга, как « Былое и думы » самого Герцена. Разумеется, советская цензура не идет ни в какое сравнение с царской, но стоит все же напомнить, что « Горе от ума » было опубликовано без искажений лишь в 1875 году, что из-за цензуры Пушкину не довелось увидеть напечатанными такие « заметные » свои вещи, как « Медный всадник » и « Дубровский », а лермонтовский « Демон » впервые полностью был напечатан в Германии в 1856 году...

Так обстоит дело с фактами.

## IV.

Логика Максимова напоминает ту простодушную женщину, которая говорила соседке : « Во-первых, я у тебя горшка не брала, а во-вторых, он уже был битый ».

В Чили « все, повторяем, все политические заключенные уже освобождены ». Но недурно завести таких же по всему свету.

4) « Континент ». № 1. стр. 3

В «Саге о носорогах» Максимов пишет: «*Я не могу, не хочу и не намерен принять политический плюрализм*». Он считает, что уж, во всяком случае, коммунистические идеи должны быть под запретом. «*Но если уж род человеческий до того духовно вырос,* — продолжает он иронически, — *что готов распространить свой плюрализм и на них* (коммунистов — Б.Ш.), *то почему же оно — это человечество — не нашло еще в себе мужества распространить этот плюрализм на Гесса, который по составу своего преступления им и в подметки не годится. Тем временем Гесс (и по заслугам!) находится в Шпандау, а они заседают в европейских парламентах или носятся по миру с идеей "социализма с человеческим лицом"*».

Итак, Шпандау! Шпандау для всех, кто верит в «социализм с человеческим лицом». Коммунистов — прямо из парламентов — в Шпандау! А те миллионы, которые их в парламенты послали, — туда же? А социал-демократов, которые ведь тоже верят в гуманный социализм, — туда же? А Дубчека и его единомышленников, если они еще не за решеткой, — туда же? Не они ли как раз носятся по миру со своим «человеческим лицом»?

И жену его, и сынка его,
И старуху-мать, чтоб молчала, блядь!

Когда начинают преследовать за идеи, невозможно остановиться. И только плюрализм спасает человечество от новых и новых кровавых бань. «Сага о носорогах» сама иллюстрирует, как раскручиваются ассоциации ненависти, — слава тебе, Господи, только в вожделении. Будь по Максимову, так даже вышеупомянутый «*в прошлом*

*белый генерал* » в стариковские свои ночи прислушивался бы к шагам на лестнице.

Некое всемирно-историческое судебное действо — похотливая греза, железный цветок максимовской публицистики. « И я уверен, что на Суде Народов... сторонники бессмысленной и суеверной догмы о мессианстве одного класса предстанут перед всем миром как мракобесы, реакционеры, душители свободы » 5). И не только они, но и « политические ханжи и лицемеры типа Киссинджера, Пальме и компании » : « Рано или поздно им придется ответить перед человечеством по всей строгости законов, принятых в Нюрнберге » 6).

Но где суд, там и приговор. И Нюрнбергский суд — не шутка. Там известно к чему приговаривали.

И, опять же, в « Саге о носорогах » про некую « *офранцуженную русскую, то ли обрусевшую француженку* » : « *Интересно было бы знать заранее, каким диалектическим манером сумеет вывернуться она, когда ее наконец приведут с кольцом в ноздре в следственное стойло, где будут разбираться дела носорогов...* »

Всемирное Шпандау максимовской голубой мечты церемониться не станет. Там будут продевать кольцо в ноздрю еще **до** стадии следствия, а следственные камеры будут как стойла.

Правосознание Максимова таково, что хоть в витрину клади на всеобщее поучение. Ему невнятно различие между действительными престу-

---

5) « Континент », № 5, стр. 462.
6) « Континент », № 9, стр. 420.

плениями, за которые судили в Нюрнберге, и исповеданием каких бы то ни было идей, что преступлением не является. Ему не понять, что судить и наказывать можно только конкретных индивидуумов за их реальные действия, которые должны быть расследованы и доказаны, а не целые группы или партии. Кара, согласно нормам цивилизованного права, не может быть превентивной. Но Максимов и этого не знает. Как он не знает, что недопустимо сажать и казнить политических деятелей, даже если кто-то считает их линию вредной. Иначе каждая смена кабинета при демократии влекла бы за собою массовые аресты и экзекуции.

Дай Максимову волю, головы так бы и летели.

О, разумеется, ради спасения мира от тоталитаризма!

## V.

« Нормальный человек, впервые прибывший на Запад из тоталитарного мира, — писал Максимов в « Континенте », — долгое время ощущает себя как бы в перевернутом мире... » 7). Почти что каждый, кто поселяется в новой для себя стране встречается с традициями и обыкновениями, которые поначалу представляются ему чудны́ми и чуждыми. Антропологи изучили этот феномен и назвали « культурным шоком ».

Но максимовский пришелец — не каждый, не просто человек, а « н о р м а л ь н ы й ». Эпитет этот, конечно, не случаен Наоборот, в нем — вся соль. На то он и « нормальный », чтобы состоять

---

7) « Континент », № 10, стр. 379

мерой всех вещей. Он — в центре, а на периферии разворачивается всемирная история, постепенно теряя отчетливость, исчезая в далях прошлого и будущего.

Но как же так, — спросят, — как же именно выходец из тоталитарного мира вдруг, оказывается, олицетворяет норму? На каком таком основании?

Ключ к разгадке находим в романе Максимова «Прощание из ниоткуда». Герой этого романа, несомненный «альтер эго» автора, совсем как в «Саге о носорогах», силится перевоспитывать некоего иностранца. И, не преуспев, шипит: «Но погоди, господин хороший, заморский глухарь, токующий о революции и прогрессе, клюнет и тебя твой жареный петух в задницу, и тогда ты запоешь другим голосом» 8).

Как видим, у «нормального человека» — своя гордость, а именно — клеваная задница. Сделав из этой телесной детали базис своего превосходства, он посматривает свысока на всех прочих, кто с жареным петухом знакомства не сводил. Откуда взялся такой зверь, он исследовать не собирается. Исследование — не стихия «нормального человека».

Некогда он ни в грош не ставил басурманский Запад, потому что заполучил по наследству православное христианство. Потом он заносился перед любым западным чинушей, потому что осуществил светлую мечту человечества. А вот теперь, на наших глазах, своеобразная гегелевская триада, пройдя сквозь кровопролитные

8) В. Максимов. Прощание из ниоткуда. «Посев» Франкфурт-на-Майне, 1974, стр. 232

отрицания, упокоилась на клеваной заднице. Сходство трех стадий, существенным различием которых нет надобности пренебрегать, определилось алмазным самодовольством «нормального человека». Было бы самодовольство, а резоны для него отыщутся.

И, действительно, сам Максимов подтверждает: «К счастью, большинство вновь прибывших быстро преодолевает этот психологический шок и продолжает здесь исповедовать те же моральные и общественные принципы, которых оно придерживалось на родине...» 9). «Нормальный человек» быстро затвердевает в идее, что мир-то как раз и стоит на голове. Испытывая головокружение и тошноту, больной вцепляется в свою постель.

Но хоть продолжает «нормальный человек» здесь исповедовать те же моральные и общественные принципы, которых он придерживался на родине, на Западе он шалеет от свободы слова. Он начинает прихварывать недержанием речи.

Публичное слово для «нормального человека» значит совсем иное, чем для воспитанников демократии. У них оно выражает всего лишь одно из мнений. Оно скорее характеризует высказывающегося, чем проливает свет и работает маяком Свобода решения предполагается сохраненной за слушателем. Это и есть плюрализм, который явился итогом борьбы и жертв многих поколений западных народов. И если что-то и следует этим народам оборонять как высшую ценность. то именно его. Без плюрализма немедленно размы-

---

9) «Континент № 10, стр. 380.

лась бы грань между современным «свободным миром» и всеми деспотиями истории.

Однако, «нормальному человеку» все это представляется легкомыслием и причудой. В его обычае ставить публичное слово в прямое сопоставление с правдой-истиной и правдой-справедливостью. По его понятиям, оно может быть правдивым или лживым, благодетельным или вредоносным. Третьего не дано. Гротескная формула Салтыкова-Щедрина про науки, — «чтобы оные подлинно распространяли свет, а не тьму», — воспринимается им без юмора.

Мне кажется, что из этого перепада культур взял свое начало максимовский недуг.

— Вас слушают?

— Значит, особо дорожат вашим мнением, жаждут совета.

— Вас спрашивают?

— Значит, чего-то не знают и есть, наконец, случай вправить миру мозги.

— Любопытство к вам остывает? Продолжают бытовать по-своему, будто их и не учили?

— Значит, либо лицемеры, либо идиоты. Или, — еще вероятнее, — агенты всяческих разведок.

Из глубин своей равной себе натуры «нормальный человек» извлекает убежденность, что именно он прав. Как же может быть иначе, если **он** думает так, а не иначе? Возражать ему, пренебречь его суждениями — значит надругаться над очевидностью.

Обижаясь на тех, кому он «*привык верить и на кого надеяться*», Максимов пишет в «Саге о носорогах»: «*Неужели и впрямь оттуда, из-за стены глушений и пограничных рогаток, виднее,*

*что здесь "то", "так" и "туда"?* » Но пребывание за границей не обогащает сознания « нормального человека », не корректирует его пристрастий. Общение его с Западом — одностороннее, монологическое. Коли уж его не слушаются, то он-то не слушает наверняка. У него для этого, по чести говоря, и ушей нет.

Вот перехватывает Максимов на ходу аборигена, который, по его словам, « *работает в сверхпередовом, супермодном журнале с разрушительными идеями и уклоном в гомосексуализм* ». Останавливает и молвит : « *Здравствуйте, п е р е в е л и* (разрядка моя — Б.Ш.) *мне вчера статью из вашего журнала...* »

Хорошо, одну статью кто-то любезно перевел А целое периодическое издание, — номер за номером, материал за материалом, — чтобы ему достоверно знать, какие там идеи, и ответственно сообщить читателю, — ему тоже переводили ? А чтобы Максимову увериться в « душевной глухоте, идеологической ограниченности, социальной стадности западной интеллектуальной элиты », — что же, на него целый реферативный институт работает ?

В положении « нормального человека » легче обвинить всю « западную интеллектуальную элиту » без изъятия, чем прочесть хоть одну книжку. Он просто вынужден изъясняться инвективами и пророчествами. Его подмывает на эсхатологические предсказания, потому что, согласно аристотелевской логике, чем тучнее объем понятий, тем может быть худосочнее их содержание. По всемирно-историческому размаху и притязаниям на ясновидение « нормального человека » сразу от-

личишь. Можно вывести такой закон: безусловность его суждений возрастает обратно пропорционально их компетентности.

Максимова, например, как магнитом, тянет учить иностранцев политике. Едва сойдя со сходней самолета, он начинает предъявлять права на политическое водительство в западном мире и кипятится так, будто у него изымают родительскую недвижимость: «*перед вами моментальнo захлопывается большинство дверей, вы незаметно для себя оказываетесь в профессиональной и политической изоляции*».

Вот он пишет в «Саге о саге» о людях Запада (опять-таки, обо всех сразу, без различия партий и стран): «*я абсолютно убежден, что развлекаются они на краю пропасти*». Вот предрекает он скорое падение и коммунистическим режимам: «В ближайшем обозримом будущем (у нас есть веские основания это утверждать) народы России и Восточной Европы сбросят с себя кровавое иго никем не избранных диктаторов...» 10). И одни вот-вот свалятся в пропасть, и другим вот-вот несдобровать.

Пустотелость содержания испортила лексику публицистики Максимова, человека литературно одаренного, имеющего слух к русскому слову. Она набита газетными советизмами, как слежалый соломенный матрац трухой. Публицист Максимов обольщается, будто написать про кого-то, что он не просто уехал, а «отправился в вояж» — это саркастично. Одни и те же слова и словесные штампы, причем в достаточно ограничен-

10) «Континент», № 5, стр. 462.

ном наборе, кочуют из одной статьи в другую или по нескольку раз повторяются в одной и той же статье. Из их сочетания иногда выскакивает нелепость.

Вот Максимов мрачно живописует торжество носорогов. Последними человеками, как два Аякса, остаются он сам, Максимов, и его личный друг « Эжен » (надо полагать, Ионеско). Даже именитый список генералов на чужой свадьбе, членов редколлегии « Континента », не говоря уж о малых сих, работниках его редакции, куда-то рассосался. Максимову, вкупе с « Эженом », предстоит пасть смертью героев. Но мы еще и не забыли, что в той же « Саге » — и с той же определенностью — предвкушается максимовский Суд Народов, « *где будут разбираться дела носорогов* ».

Публицистика Максимова на придирчивого читателя не рассчитана. Читатель обязан верить, потому что в одном случае наш сагописец « абсолютно убежден », а в другом располагает « вескими основаниями это утверждать ».

## VI.

И еще из « Саги о носорогах » — наверно, самое чистосердечное : « *...для человека моего склада и характера первым и, пожалуй, самым мучительным испытанием на Западе явилось полное смещение спектра этических и политических критериев, принятых здесь в оценках людей, событий, ценностей. Оказывается, что в общем-то все дозволено. Можно черное назвать белым и — наоборот* ».

На испытании свободой Максимов срезался,

потому что к экзамену оказался не подготовлен. В своем знании, что именно «белое», он уверен, как он уверен в том, что поддержание истины нуждается в санкциях. Отсутствие таковых на Западе явилось для него, по его же словам, «самым мучительным испытанием».

С нежностью вспоминает Максимов московских приятелей: «*Это был восхитительный остров взаимопонимания, где каждый ощущал каждого с полуслова, с полувзгляда, с полунамека, а то и на расстоянии. Иногда мы просто молчали по телефону (?!)... и это молчание было для нас куда красноречивее самых пылких объяснений и речей*».

Не знаю, что за среда была у Максимова в Москве. Ясно только, что в морально-политическом единстве она недостатка не испытывала. Там каждый чувствовал и мыслил точно то же, что и Максимов. Там растроганно молчали про то, что не всем все можно и никому ничего нельзя дозволять. И как это правильно, когда не всем все можно.

Ну а про что же там разговаривали?

За несколько лет до того, как эмигрировать, Максимов издал за границей роман «Семь дней творения». От этой книги, — думаю, наилучшей из написанных Максимовым, — пошла его диссидентская слава. Там религиозный учитель главного героя, по имени Крепс, открывший ему, заблудшему, свет Христовой правды, поучал его, между прочим, так: «Разуй же, наконец, глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать

больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жаловании у государства ! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков » 11).

В дни, когда это писалось, Максимов, видимо. еще не успел сделаться личным другом Сахарова и личным другом « Саши » Галича. Демонстрантов на Красной площади он, очевидно, подразумевал не ноябрьских и не майских, а тех, единственных, выступивших против интервенции в Чехословакии.

В том, что, будто бы, не их, а лишь единомышленников Максимова гонят в Казань, сказалось уже знакомое нам обращение с « конкретными фактами » : демонстрантов взяли прямо с площади, приговорили кого к лагерю, кого к ссылке, а Виктор Файнберг угодил именно в психушку, — правда, не в казанскую, а ленинградскую. Среди участников « подпольных (?) протестов » сидельцев тоже немало. А уж « жалованием у государства » поплатились почти все.

Но оттого лишь явственней тенденция автора « Семи дней творения ».

Друзья Максимова разговаривали про то, что « подпольные протесты » писать не следует, а демонстрировать — дело пустое. Пуще всего они не любили « либеральных борцов ». И укрепля-

---

11) В. Максимов. Семь дней творения. « Посев », Франкфурт-на-Майне, 1973, стр. 319.

лись в своей еще свежей вере в Бога тем, что с ее помощью можно нанести самый страшный урон властям.

Скажут: негоже цитировать роман; автор за своих героев не ответственен. Однако, во-первых, Крепс, святой человек, был скорее «рупором» автора. А, во-вторых, Максимов уже в эмиграции — и не в романе, а в газетной статье — заносился все так же: «Нашу охранку никогда не заботила и не заботит кипучая деятельность... новоявленных блюстителей правовых норм в бесправном государстве...» 12).

Прежде чем невзначай натолкнуться на Западе на «*полное смещение этических и политических критериев*», Максимов ничего не понял в правозащитном движении у себя на родине. Не понял и не полюбил.

Поэтому для него обернулось шоком, когда оказалось, что тут, на Западе, пекутся не только о нем и ему подобных, но и о тех, в частности, кого он бы собственными руками придушил. Оказалось, что тут имеют наглость замечать и другие проблемы, кроме тех, которые заботят Максимова, но даже и эти последние толкуют не по нему. Тут «*оказывается, что в общем-то все можно и все дозволено*».

Надеюсь, еще в Москве Максимову попадались выпуски «Хроники текущих событий», на титульном листе которой всегда печатается статья 19 «Всеобщей декларации прав человека»: «КАЖДЫЙ человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это

---

12) «Русская мысль», 25 марта 1976 г.

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Но, попав на Запад и вдруг узнав, что тут эта норма стала бытом, он принялся, как мог, бороться против нее, настаивая, что именно не КАЖДЫЙ имеет право на свободу убеждений.

«Сага о носорогах» набита занудными препирательствами. Он им про ГУЛаг, а носороги про Южную Африку; он им про лучшего друга «Володю» Буковского, а носороги ему про Чили; носороги ему опять про Африку, а он им про то, как стреляют немцев у Берлинской стены. И так далее.

К чему эта жестокая забава весами, когда, заместо гирь, то на одну, то на другую чашку бросают человеческие страдания, причем одна из них непременно остается пустой? Разве взаимозаменяемо или взаимооправдываемо одно горе другим?

Оставим западных либералов. Интересующиеся знают, что на Западе вовсе не замалчиваются преступления против прав человека при коммунистических режимах. Но почему же самого Максимова людское бесправие не трогает, а открывает он на него глаза только тогда, когда оно пригодно ему для извлечения нужного идеологического поучения?

Максимов писал про академика Сахарова: «...он стоял перед зданием суда, где судили Сергея Ковалева, и это человеческое бдение было позначительнее многих громогласных протестов

на Западе » 13). Какая бестактность! Разве так бы слышен был голос Сахарова, Ковалева и других, если бы не отзывался он эхом по всему миру в « громогласных протестах » ? Но не это Максимову интересно. Ему интересно « фрондирующим физиком » хоть походя кольнуть ненавистных « ревнителей свободы и гуманизма ».

## VII.

Есть у Гегеля остроумная статья, которая называется « Кто мыслит абстрактно ». Он разъяснил там, что философы мыслят как раз конкретно, а абстрактно мыслят те, кто об этом не подозревает. В пример он привел базарную торговку, которой неосторожная покупательница сказала, что та продает тухлые яйца. « Сама ты тухлая! — принимается вопить торговка на весь базар. — И чулки у тебя рваные, и голова неделями нечесана. И офицеры к тебе по ночам в окно залезают, и каждый раз разные. Что они нашли в такой образине? Тьфу! » « Весь облик строптивой покупательницы, — развивал свой парадокс Гегель, — окрашивается в цвет тухлых яиц. хотя для офицеров примечательны в ней, вероятно, совсем другие качества ». И торговка, и офицеры мыслят абстрактно.

Абстрактно мыслит и Максимов. Серьезный идейный спор ему заказан: что поймешь и что докажешь на чужих переводах? О « западной интеллектуальной элите » он вынужден судить не по ее теориям, не по книгам и статьям, а по случайным иностранцам, которые имели несчастье попасться на его пути. Но и в этом случае

13) « Континент », № 7, стр 419

он способен судить все больше по внешности и по тому, как эти люди отнеслись к нему. Говоря по правде, я в толк никак не возьму, на каком из земных языков на самом деле совершался обмен любезностями в « Саге о носорогах ». Ну, с « Эженом », допустим, Максимов мог изъясняться хоть по-румынски. А как же с другими?

Суровую пищу максимовского интеллекта могли составить лишь личные реакции людей на него, а поскольку внимали они ему без ожидаемого восторга и трепета, сползание на личности было предопределено. Великий Гегель помогает понять, почему « нормальный человек » непременно заканчивает вселенской склокой.

И, действительно, « Сага о носорогах » нашпигована базарной бранью. Полемические приемы нашего сагописца приелись всякому, кто отъездил свое в общественном транспорте города Москвы. В этом смысле фольклорные их истоки не вызывают сомнений. В моей памяти « Сага о носорогах » возбудила незабвенный образ коммунальной соседки Анастасии Петровны. Отчаявшись ее урезонить и признав свое бессилие состязаться с с ней в красноречии, мы с женой перестали ей отвечать. Тогда наступил относительный покой. Наша игра в молчанку обернулась и возмездием, потому что бедняжку пучило от подавленных высказываний.

С тех пор я вывел для себя определенное житейское правило и придерживался его себе на благо. Но из каждого правила, как известно. приходится делать исключения. У Анастасии Петровны не было своего журнала, а, главное, она убереглась попадать туда, где *« в общем-то, все*

*можно и все дозволено*».

Унизить, уязвить, вдарить в незащищенное место, а при случае и безнаказанно оклеветать — вот приемы Максимова. Про одну женщину ловко ввернуть, что она строит из себя девочку, хоть не девочка; про ее мужа прозрачно намекнуть, что он для нее — жеребец; про другую печатно высказаться, что ее «*всем Бог обидел*»; про одного — «*попивает, слаб к женскому полу, с годами становится все слезливее*» (ловко отбрил старика!); про другого — «*перманентно до или после запоя*»; про третьего — «*всегда в окружении девиц известного пошиба*».

Не избег Максимов и знаменитого трамвайного трафарета: «А еще штаны надел». Он неустанно считает деньги в чужих карманах. Он попрекает ненавистников своих «*дорогой сигареткой*»; «*ценными бумагами*», переписанными на жену; «*вызывающими* (?) *брючными парами*» — это про женщин; «*смокингами*»; и, конечно, автомобилями. Хоть перековался Максимов в самого что ни на есть консерватора, но из-под новых взглядов все еще торчит пролетарское происхождение и уравнительская уверенность Анастасии Петровны, что благосостояние неотделимо от порока.

Однако, должен сказать, что даже в жару словесной баталии Анастасия Петровна не имела склонности копаться в политическом прошлом противника и приписывать его к разным разведкам. Это, вероятно, потому, что она была домохозяйкой на пенсии и не претендовала переводить глобальные политические проблемы времени на уровень своего разумения.

Тут мне уже не хочется смеяться. Привычка

разбрасывать предположения, что такой-то стукач, а такой-то агент, и тут же выдавать их за уверенность — отвратительна. Она — верный знак, что сталинская истерия страха и звериная отчужденность людей все еще властвуют над теми, кто от этой привычки не избавился. Сказать такое про ближнего, тем более провозгласить печатно — без всяких убедительных доказательств — может только человек жестокий и равнодушный к чужой судьбе. Мания стукачества — оборотная сторона тупого истребления «врагов народа». От обвинения в стукачестве невозможно оправдаться. Оно убийственно или, по крайней мере, человек, который к нему прибегает, рассчитывает на его убийственность. По моральному своему составу оно ничем не лучше ложного доноса. От работы палача оно отличается только техникой, потому что убивает морально, пока руки коротки убивать физически.

Личные выпады в «Саге о носорогах» не заслуживают опровержения. Они просто немыслимы в приличной прессе, потому что слово дано нам не для того, чтобы, разряжая дурные инстинкты, оскорблять ближних. Правовое общество именно для предотвращения подобных эксцессов предусмотрело суд за диффамацию в печати.

Но Максимов поступил обдуманнее. Он прозрачно намекал, но не назвал имен. В «Саге о саге» он еще по новой покуражился над теми, кто хотя бы в письме или по телефону вступался за оскорбленных. Он насладился тем, что облитые им помоями люди узнаны: «*Боже мой, если он*

*такого мнения о своих друзьях, могу себе представить, что он думает обо мне».*

«Саги» Максимова нельзя извинить, видя в них импульсивный выплеск потерявшего голову человека. Мера нарушения общественных приличий заранее обдумана и рассчитана на безнаказанность. И это — последний штрих к тому автопортрету, который у Максимова нечаянно вышел.

---

**Шрагин, Борис Иосифович** — родился в 1926 году. В 1949 г. окончил философский факультет МГУ. Кандидат философских наук. Научный сотрудник Института истории искусств, преподаватель эстетики, автор ряда работ по теоретическим проблемам искусства и истории культуры. В 1968 году был исключен из партии и уволен с работы за участие в правозащитном движении. С 1967 г. писал для Самиздата и печатался за границей под разными псевдонимами. С 1974 г. живет в США.

ПОКУПАЙТЕ РУССКИЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ:

ВЕСТНИК РХД (Париж-Нью-Йорк-Москва), ВРЕМЯ И МЫ (Тель-Авив), ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ (Мюнхен), ГРАНИ (Франкфурт-на-Майне), ДВАДЦАТЬ ДВА (Тель-Авив), КОВЧЕГ (Париж), КОНТИНЕНТ, НАША СТРАНА (Буэнос-Айрес), НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО (Нью-Йорк), НОВЫЙ ЖУРНАЛ (Нью-Йорк), ПОСЕВ (Франкфурт-на-Майне), РУССКАЯ МЫСЛЬ (Париж), РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (Париж-Москва-Нью Йорк), СИОН (Тель-Авив), ТРЕТЬЯ ВОЛНА (Франция), ЧАСОВОЙ (Брюссель), ЭХО (Париж).

**Игорь Померанцев**

## ЧИТАЯ ФОЛКНЕРА

*Памяти нас.*

*Девочка, что за книги у тебя на столе: Шекспир? Достоевский? Пастернак? Я люблю в них Фолкнера. А в нём, в нём — тебя.*

*Мне не хочется ставить последнюю точку. Мне кажется, я кончаю не маленькую повесть, а свою первую, самую счастливую и короткую, жизнь.*

Я в комнате, где музыка и дым. Напряженная спина отца, пятна пота, пахнущие «Шипром». Жуть газетных передовиц; какие тяжелые слова ворочает отец: МТС, директива... Стеснялся слова «журналист», говорил о себе: газетчик. Конец пятидесятых, я притаился в комнате, отец, пышущая жаром радиола, зеленый глазок, а из черного гарлемского вымени бьет струя джаза. Подставляю руки, лицо, сердце. Этим молоком я вскормлен. С этого начался Фолкнер?

Нет.

: полдень, шлемы куполов, стремительные ступеньки, мы в майках, нам — шесть, прохладная духота церкви. Сбоку и сверху : голос отдельно, оспенное лицо отдельно : — А ты, жиденок, ступай отсюда.

Это не мне. Это Моне. Бег наперегонки с дыханием, Монин полуподвал, нелепо разведенные руки Рувима Львовича. Так начался Фолкнер?

Нет.

: девочка, на берегу тебя. Как высоко небо. Как глубок поцелуй. Мы не на « ты » — на « я ». Не вхожу — заплываю далеко в тебя : мимо — буйков, горизонта — мимо; оглянувшись, не видел кромки суши, радовался. Ты помнишь, десять июлей тому ты входила, столькожелетняя, в дух захватывающее Черное и была в нем теплым течением. Но причем здесь Фолкнер? Причем. Причем!

С ума сойти : стрелки часов Бенджамина Компсона вращаются в обе стороны. Он фиксирует происходящее, как художник, не искушенный знанием законов перспективы. Для Бенджи событие не имеет ни общепринятой логики, ни конца, ни начала, но лишь контур, цвет, запах, степень приятности или боли. Он часто плачет, но слезы эти не горьки, не печальны — они текут, потому что текут; слезы — его средство общения. Слова говорящих он различает не по смыслу, а по интонации, тембру. Бенджи словно движется на карусели. Виток. На гамаке в саду Кэдди и Чарли. Еще виток, длиною в полжизни. На гамаке Квентина и франт с красным галстуком. Кружится голова. Судорожно цепляется Бенджи за

гриву деревянной лошадки. Катятся слезы. Тридцать три года. По кругу. По кругу. Те же лица. запахи, крики. В десяти строчках первого абзаца « fence » (забор) повторяется 5 раз, « went » (прошедшее время глагола идти) — 5 раз, « hit » (ударить) — 4 раза, « flower » (цветок) — три раза, « flag » (флаг) — три раза.

Пластинку Бенджи заело на « Люблю Кэдди ». (Калитка, школьницы, идущие в сумерках, запах деревьев — это все Кэдди.) Ночь кончается для него счастьем : присутствием Кэдди (они спят рядом) и ее словами о пробуждении. Но надушенная Кэдди для него уже другой человек : он убегает от нее. Для Бенджи признак чаще важнее и занимательнее, нежели носитель признака. Однажды заметив яркие пятна (« bright shapes »), он позже думает о них только как о « яркие » (опуская существительное). В выборе признака проявляется поэт. Секрет субстантивации знал Мандельштам, гений имен прилагательных.

*Слепая ласточка в чертог теней вернется*
*На крыльях срезанных с прозрачными играть.*

Или :

*Но я забыл, что я хочу сказать,*
*И мысль бесплотная в чертог теней вернется*

*Все не о том прозрачная твердит...*

Итак, мы сравнили Бенджи и Мандельштама. Уточним : за спиной Бенджи всегда сокрыт автор. Если бы сам Бенджамин Компсон взялся за перо. на бумаге скорее всего остались бы ломаные линии и пятна слюны. Лексическим топтанием,

эллипсисами, обрывами, выбором признаков Фолкнер создает иллюзию того, что Бенджи сам рассказывает о себе. Фолкнер пишет «изнутри» О затемненности, фрагментарности, прерывистости мышления героя мы судим не потому, что автор этими словами характеризует Бенджи. С первого предложения романа Бенджи смотрит сквозь что-то : забор, вьющиеся цветы. Это намек, толчок — вывод за нами. Вот строчки хорошего поэта.

*Какие горькие слова!*
*С песком, полусырые.*

Названо очень точно (это о шуме листвы). Фолкнер — поэт высшего порядка. Он выбирает такие слова, расставляет их таким образом, использует такие знаки препинания, что песок или влагу мы не просто считываем со страницы, но ощущаем на зубах и кожей. Вот предложение. «What do you think of that scouring her head into the». («Тычу ее лицом в.») Дальше земля помешала. На точке после «в» кончается литература и начинается жизнь.

Цивилизация выражает себя на всех уровнях. На грамматическом тоже. Индейцы говорили о себе в третьем лице. В мифологической песне «Прорицание вёльвы» из древнеисландского эпоса «Старшая, или стихотворная, Эдда» (около X в. н.э.) вельва, т. е. колдунья, говорит о себе как в первом («... всё я провижу...», «Ясень я знаю по имени Иггдрасиль...»), так и в третьем лице («Она колдовала тайно однажды...», «Один ей дал ожерелья и кольца») Это свидетельствует

о двойственном — отчасти еще языческом, частью уже монотеистическом — мироощущении. Бенджи — идиот; он растворен, смазан, расквашен и все же, повторяя окружающих, думает только от «я». Это — формальная индивидуализация. Сам по себе Бенджи, в отличие от Квентины или Джейсона, — ноль, ничто. Он интересен, как монтажные ножницы, как оптический прицел Фолкнера. Глава первая — торжество остранения.

События, происходящие в первой главе, смонтажированы не хронологически, но — не без помощи Бенджи — ассоциативно. Все последующие главы — разгадка, ключ к пунктирному восприятию Бенджи. В школьных учебниках грамматики детям часто предлагают такое упражнение: вставьте в предложение вместо точек подходящие слова. Учебники преследуют дидактические и воспитательные цели. Фолкнеру плевать на развитие нашего воображения или логики. Он — художник. Он следует своей эстетической правде. Глава, написанная от «я» Бенджи, — это проза замедленного действия: сперва она ставит в тупик и очаровывает вопреки непониманию, а после прочтения всей книги ошеломляет и покоряет точностью, дерзостью и мастерством. Вкус счастья лишь тогда сладок, когда для достижения счастья преодолевают сопротивленье и преграды. Это относится и к счастью чтения.

Ритм напряжения первой главы задан и вымерен: узкоколейное восприятие Бенджи сочетается с недосказанностью событийной: то Ластер утаивает чужой мячик, то от детей скрывают смерть бабушки.

Почти десять лет тому назад восторженный

второкурсник, мой тезка и однофамилец, написал :

« Итак, начинаются Черновцы ! Встаньте — как вы всегда встаете, когда говорят о любви. Этот город выстроен из недомолвок, дыма и крика. В его дворах, где пасутся дожди, громоздятся искореженные клетки для птиц и полуистлевшие кошки трутся о пепельных голубей. В его стенах — непробитые окна, обрамленные карнизами. Каменные намеки. Казалось, уже все было готово, чтоб извлечь кубометр кирпича, но вдруг началась чума или нахлынула вражеская армия, и ступеньки нелепо уткнулись в то место, где должна была появиться дверь, — так алхимик на смертном одре мог бы раскрыть лишь половину тайны. Черновцы размыты переулками. На какой-то окраине, в каких-то отголосках города, где запах и цвет — одно и то же, прорезаются тополя... »

Отречение от своего прошлого — это отречение и от будущего. Я не намерен отказываться от своего юношеского голословия. Я лучше попробую еще раз, снова о Черновцах. Вдруг получится ?

Сначала : поля : кукурузные, картофельные, гороховые — без края, без границ; какой-то пространственный разгул, разврат — и это тоже город — и ты, в ужасе глядящий на ртутных, рассыпающихся вдаль мальчишек. И вот ты уже один на один с дюреровским муравьем, лезвием кукурузного листа, дрожью поджилок. Разве это сравнимо с неуютом коридорной полутьмы, когда ты просишь « Мамочка, постой за дверью уборной — а то мне будет страшно выйти ! » Крепко

сжаты и забыты два стручка гороха в ладони, сладкие молочные слезы в лопатках. Все это повторится еще тысячу раз — на каменных мостовых — только мелькнет меж домов оранжевая майка старшего брата; это он убегает от тебя со своими ровесниками, они сильнее и выносливее, они бросят тебя одного, с болью в селезенке, с мокрыми солеными ресницами; и потом на тех же мостовых тебе крикнет женщина «Всё! Всё!», и за нею с грохотом захлопнутся дверные створки трамвая, а твоя боль медленно, как в лифте, подымется из селезенки в грудь и остановится — уже навсегда — возле левого соска, а ты, по-прежнему забыв обо всем на свете, будешь сжимать в своей побелевшей ладони два нелепых гороховых стручка — сладкие молочные слезы в лопатках.

Мое зеленое, виноградное, тминное детство под сенью дедушек (позднее разобрался: дедушка — один, все остальные — его братья); не помню в раннем детстве зим; оглядываюсь и вижу: вечный июль, воздух, струящийся из набухших яблок, щекочущий до головокруженья. Первый трехколесный велосипед. Я буду ездить на нем, пока коленки не уткнутся в подбородок. Потом — сразу — едва сандалики дотягиваются — «Орленок». Учительница брата всплескивает руками: «Светлана Ивановна! Я видела вашего младшего: он катался на чужой улице!» А мне уже тесно в саду, и своя улица мне мала, и как замечательно, что этот город скроен на вырост. Я набираю скорость, и мой брат уже не придерживает меня за багажник. Как долго тянется асфальт и аптекарский запах из-за забора гос-

питального двора Через два года я узнаю про существование словосочетания «болезнь Боткина» и почувствую пухлость и объем слова «печень». Остывшим декабрьским рассветом я прошлепаю в спадающих — на два номера больше — казенных тапочках, в вылинявшей пижамке пустынным гулким коридором, войду в высокую, почему-то всегда со свеже-выкрашенными стенами уборную, найду свою баночку с биркой «Люстрин. Анализ мочи» и беззвучно з-з-з-з наполню ее. Никогда в жизни я больше не видел такого горького, такого соленого, акрихинного черно-желтого электрического света, как в больничных уборных сиротливым декабрьским рассветом! Лежа в изоляторе, в полубреду слизывал этот свет с губ; долго смотрел на босые ступни санитарки Гали, стало неловко, не нашел ничего лучше — и сейчас, когда пишу это, краска заливает щеки, — чем спросить «Галя, у тебя плоскостопие?». У кого только слову такому научился?! Но это после, через два года; а пока — на прозрачных спицах я открываю квартал за кварталом, и с моих шин слетают навозные иголочки пригорода прямо на убористые булыжники по-ярмарочному нарядного центра. Горбуны; безумцы; расписанные, как пасхальные крашенки, крестьяне; евреи — что ни мужчина, то Кафка, что ни старуха, то вечность — все это по боку, только за локтями просвистело. На велосипеде с отказавшим тормозом я наматываю на колеса уже не километры, а годы. Как странно: вокруг меня все говорят по-немецки и по-румынски, а я все понимаю. Я знаю этого мальчика и девочку, которой он кричит «Аме!». Его зовут Пауль Анчел

Став взрослым, он переиначит свою фамилию в Целан, и в литературных энциклопедиях вслед за датами его рождения и гибели напишут « выдающийся австрийский поэт ». А пока мы втроем на берегу речки Прут. Среди жалящей гальки мы находим песчаный оазис. Песок, как крем, проходит сквозь пальцы. Вода студена. Становишься на цыпочки, тянешься вверх — лишь бы ледяной поясок не замкнулся на талии. Обрушиваешься. « Мальчики ! Не заплывайте далеко ! », — это голос Аме.

Конец мая, семьдесят какой год ? Мы сидим на кухне — только там и остались табуретки. Все упаковано, чемоданы затянуты, замкнуты саквояжи на маленькие игрушечные ключики. Мне кажется, что я на перроне и слышу рыданье и сам давлюсь слезами под тихую еврейскую мелодию. Край тьмы. Край света. Но куда эмигрировать от себя ? Как Пауль — головой в Сену ? Женщина с юным лицом и звонкой сединой говорит :

— Он был очень красивый мальчик. Он был красив утром, вечером, в гимназии, в библиотеке...

Мы тянем остывший кофе. Амалия спрашивает :

— Вы хотите переводить стихи Пауля ?

— Нет, — говорю я и чувствую : надо что-то добавить, что-то объяснить. Но мне ведь и самому не все ясно, я ведь и себе не могу внятно ответить, зачем пришел к этой женщине, зачем цежу холодную кофейную кашицу и не хочу, не хочу уходить. Я возвращаюсь в довоенные Черновцы. Забегаю на рынок, улыбаюсь гуцулкам в накрахмаленных чистеньких передничках, про-

бую ослепительно белый творог — он тает на языке быстрее снега. Я не пропускаю ни одного подвальчика с намалеванной на дверях гроздью винограда, пью из деревянных кружек. Как кружится небо над головой. Как пьян этот воздух.

— Ты хотел бы показать мне Черновцы? Крупнозернистая стена дома. Бесконечный, как зевок, туман. Родители позволяют ей возвращаться не позже одиннадцати. Мы медленно отрываемся от земли. Вот летят над Украиной не ведьма и ведьмак, а юная женщина и молодой мужчина. Его знобит и он поднимает воротник. Низко над ними Млечный путь, и когда они пролетают над огнями городов, мужчина поеживается на звездном сквозняке. Так летим мы, рука в руке, пока утро не открывает пред нами мой Дублин, мой Витебск, мой городок. Последние вельветовые лоскутки свежевспаханных полей и крыши, крыши. Любимая, осторожно: легкое облачко — чей-то сладкий сон. Ноги, прикоснувшись к плитам, зудят с непривычки. Тротуар. Подъезд. Потом еще глубже, по осклизлым ступенькам, сквозь острый помойный аромат; в этой подвальной полумгле с темными сырыми разводами памяти на потолках — слышишь ли ты ребячий голосок:

Раз, два, три, четыре, пять —
я иду искать.
Кто не заховался —
я не виноват?

Стремглав, нарочно с нею, спрячемся, нет, не сюда, здесь сразу найдут, да, да, в этот влажный, дрожащий мрак; тоньше ниточки — щелка. Она глядит сквозь нее, видит восклицание «Тук-тук за себя!», и я тоже, из-за ее спины заглядываю

в щелку, не чтоб увидеть — чтоб прикоснуться к лезвию плеча, яблочному локотку; ночь в глазах.

Я не заховался. Я не виноват. Вот кто-то отделяется от тьмы, вылитый я, со щетиной и трауром под ногтями. Он отстраняет тебя и кулаком убивает меня насмерть ударом в висок.

Как начать этот отрезок моей прозы, моей поэзии, моей жизни? Резко и сумбурно? а потом где-то к середине обрести почти сухую, почти протокольную ясность, слишком уж сухую и протокольную, чтоб заподозрить меня в пристрастии к добротной прозе. Или наоборот: сперва упомянуть даты, имена, места встреч и разрывов, а потом с каждым словом все стремительней и круче набирать высоту, пока не лопнут барабанные перепонки и носом не хлынет кровь? А что, если так: Воскресенье, конец марта; утром из зеркала на меня посмотрел небритый старый-старый молодой писатель. Он открыл окна, и на улице стало теплее. Он спустился по лестнице, впервые в этом году с непокрытой головой, пальто нараспашку, с болью в груди — от невозможности высказать все, до конца. Внимательно прислушиваясь к своей боли, он вспомнил строфу из любимого поэта, одна из книг которого, должно быть в пику святому Франциску, называлась «Сестра моя — жизнь».

*Как будто бы железом,*
*Обмокнутым в суръму,*
*Тебя вели нарезом*
*По сердцу моему.*

Боль обрела вкус : словно во рту защипало недоспевшее яблоко. Во дворе влажная набрякшая земля как-то вся сразу поддавалась под каблуками. Откуда-то вынырнули символы весны : спортсмены в разноцветных майках. Символы гоняли мяч; механический футбол; фигурки, у которых есть только вид сбоку и никакого будущего; клавесинные бега; гашеточный разнобой; иногда мяч вылетал за металлическую сетку спортивной площадки, и дети, стоявшие за сеткой, все вместе устремлялись к нему и, повозившись, в конце концов перебрасывали мяч на площадку, вновь включая тела и голоса спортсменов. Вернувшись, третье лицо единственного числа вымыл два бокала — он ждал гостью, — вспомнил ее губы, пахнущие укропом, а потом всю эту зиму, снег этой зимы и воздух, тоже пахнущие укропом, отпил глоток белого кислого вина и сел к столу. Писалось ему легко. Про мартовское воскресенье, влажную податливую землю, красивых спортсменов в разноцветных майках и аромат июньских огородов. Но то главное, ради чего он писал, ускользало из-под пера : то ли он боялся подступить вплотную к этому главному, то ли оставлял, как самое лакомое, на потом.

Динь-дон. Пока не поздно, отложим книгу, бросим главу вторую, забудем про роковой июньский день 1910 года. Вернемся в Бенджин мир : там еще живой-здоровый Квентин, там счастливо плещется в ручье Кэдди и даже Джейсон — не такой уж злодей — изорванные им бумажные игрушки не в счет. Но куда там ! Разве уйдешь от Фолкнера. Вы можете вот так, одним предложением описать повторяющуюся изо дня в день

спешку опаздывающих: «...the same ones fighting the same heaving coat-sleeves...» (все та же ловля рукавов пиджачных на лету)? *) Здесь что ни строчка, то горизонт. Ты к ней — она от тебя. Квентин разбивает вдребезги часы. А они знай себе тикают. К тому же он порезал палец и выпачкал циферблат в крови. Есть ли смысл вывернуть наизнанку эту метафору? Думаю, нет. Интересна структура фолкнеровских метафор. Сначала он вбрасывает почти лобовую мысль. Ты едва не морщишься. Но вот он начинает ее раскручивать и разворачивать. Ты становишься на цыпочки, а он все тянет тебя за собой — не дотянуться.

Когда умрешь, благородный ты или нет, запашок тут как тут. Вот едет гремящим трамваем молодой, с иголочки одетый труп с остановившимися часами и взглядом. От него разит воспоминаниями; от воспоминаний — духотой жимолости, объятий и камфоры; как за дымовой завесой, все преломляется, слоится, растекается — до запятых ли?

Квентин — максималист. Он все воспринимает в самом прямом смысле. Если цветá — то без примесей: вечные, библейские. Если добро — то как в притче — из одного куска. Рушится, рушится его мир: вот-вот Квентин будет погребен под руинами. Я не о заблуждении Квентина. Я о нашем заблуждении. Не мы — Квентин прав! С тех пор, как безумно (это для нас — безумно, а он иной любовью и любить не может) любимая

---

*) Здесь и далее перевод с английского О. Сороки. Журнал «Иностранная литература» (прим. автора).

им сестренка Кэдди познакомилась с неким Долтоном Эймсом и потеряла невинность, время Квентина отсчитывает его височная жилка. Долтон Эймс. Динь-дон. Долтон Эймс. Динь-дон. И всюду адская машинка — на запястье, в витрине часовой мастерской, на башне. Каждое мгновенье не прожито — сопережито. Обострены слух, обоняние, зрение, совесть.

Кое-кому повезло : у них кожа, как кора дерева. Наверное, из-за таких счастливчиков некоторым вовсе кожи не досталось. Так и живут — как освежеванные. Хорошо еще, что ледниковый период кончился. Кончился ?

Знаменитая слеза ребенка для Квентина не цитата, но капля соленой влаги, срывающаяся с детской щеки в бездну. Квентин устремляется за ней.

Но, сэр, но, Квентин, какими судьбами ты забрел в роман, написанный в 29-ом году ? Беги из него. Я передам тебе — стража подкуплена — веревочную лесенку и напильник. Что же ты мешкаешь ? Через крепкую, коротко остриженную голову лейтенанта Генри ты протягиваешь руку несчастному немецкому пареньку, чующему запахи по телефону; незабвенному Симору Глассу: подростку, показывающему юной возлюбленной где-то в школьном закутке, на самой верхотуре, свою страшную тайну : кожу, крапленую псориазом. Генри, конечно, не в счет. О нем и речи быть не может. Скорей уж другой лейтенант — Глан. Или Арсеньев. Их тоже обделили кожей. Но им присуща скорее биологическая, сословная, психологическая тонкость, чем духовная. Задержимся на Симоре. Вот он, прощаясь с жиз-

нью накануне самоубийства, целует пяточку Сибиллы. Не будем пересказывать.

« Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отвороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку ». А вот Квентин в последний час своей жизни. « Then I remembered I hadn't brushed my teeth, so I had to open the bag again. I found my toothbrush and got some of Shreve's paste and went out and brushed my teeth. I squeezed the brush as dry as I could and put it back in the bag and shut it, and went to the door again ». (« Вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемодан. Вынул щетку, взял у Шрива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил. Вытер щетку посуше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям ».) Как совпадает интонация, настрой, аксессуары !

Свобода заключается не столько в том, чтобы преодолеть и отвергнуть этику общую, сколько в том, чтобы подчиниться и следовать этике личностной, генетической. Квентин — свободный человек. Сколь бы ни был убедителен Компсон-старший в споре с сыном, его позиция порочна по сути своей, ибо человек и силен тем, что в каждый промежуток между ударами сердца успевает прожить всю свою жизнь.

Есть такой стилистический прием : зевгма. Приблизительно его можно растолковать так : использование грамматически однозначного члена предложения в конструкции с двумя (или более) словами, одно из которых обладает переносным, а другое — буквальным значением. За примером

далеко ходить не будем : « ... с остановившимися часами и взглядом ». Не верьте мне. Это не я владею словом, а оно мною. С ясностью во взоре Квентин развоплощает свою душу. Во искупление.

. и прыгнул он с моста и пошел по воде как по суше...

. много передать не могу Нина Аркадьевна звонила так я к ней примазалась пей бульон и ешь биточки предварительно поджарь на маленьком огне если рубашка не понравится то продай она стоит 7.50 мне лично по вкусу не маркая хорошо стирается под цвет твоих глаз Геночка не забывай маму звони как живешь что нового главное если холодно то одевай нижнее белье береги себя как с деньгами что купил получил ли чистое белье из прачечной убираешь ли комнату кухню и коридор множество вопросов посыпалось на твою холостяцкую голову и не надоело так жить я была на толкучке продала пальто отцовое за 35 наконец-то приезжала мать Тони непрошенный гость хуже татарина Толечка сразу сбежал даже глядеть на нее не хотел а я пришла к обеду и мне позвонил Толя дескать она хочет говорить с тобою а я даже видеть ее не желала ушла из дому до самого вечера пока она не уехала вот гадина хочет мира а я до смерти не хочу ее знать так и сказала Тоне ей конечно не нравится она уже простила а я при воспоминании о помолвке содрогаюсь вместе с Толечкой как видишь он мужчина простить ей не хочет так сильно она нас оскорбила сыночек ты молодец если покупаешь себе творог молоко обязательно

надо есть молочное вчера поздравила Мику она поменяла квартиру соединилась с бабушкой приходила с мужем тебя все равно любит я ей подарила хозсумку большую горшок-вазон и традиционный мамин торт сынуся я хочу заказать себе ботинки магазинные не лезут высокий подъем стоят 60 р. ужас но что делать ноги старенькие и больные сыночек что необходимо постирай кашне почисть всю обувь ежедневно смазывай и протирай лицо розовой скатертью новой застели стол сегодня же ты меня порадовал что купил рубашечку в горошек и носки покупай еще мне хочется чтобы ты купил себе костюм импортный всетаки костюм нарядней да и деньжат имеешь почти на костюм а пиджак купить легче он стоит дешевле с брюками а раз ты имеешь деньжата почти на костюм то покупай его а брюки и пиджак купишь потом сейчас когда зима если не очень холодно носи байковые трусы а к лету я еще пошью сыночек если есть еще рубашки в горошек то купи для Толечки я сразу вышлю деньги воротник 40 тебе буквально все надо ищи хорошую девочку с квартирой я бы к тебе приехала что будешь делать если хозяин квартиру откажет призадумайся у Тонечки уже животик виден почему стал редко звонить наверное не очень скучаешь неужто я не верю в чудеса ищи Геночка хорошую жену брось ходить в дураках и не надоело как ушанка пойди на старую квартиру авось отдадут ведь уже холодно все тебе завидуют дорожи работой положи это под стекло что я должен сделать в субботу вытереть пыль и подмести постирать майки и трусы носки рубашки и погладить брюки на мокрую тряпку до

блеска начистить обувь и если надо починить отнести белье в прачечную почистить пальто и пришить если надо пуговицы искать невесту повседневно чтобы жизнь была интересной веселой сытой прочитала твое письмо всплакнула мне очень горестно и больно что ты сукин сын считаешь меня госпожой Простаковой досада берет за твои размышления и убеждения тебя не убедишь что ж будем бедняками всю жизнь хоть я стремлюсь как все люди быть «толстой» продукты выложи в кастрюли в целлофане не держи в первую очередь ешь рыбу потом мясо я не в обиде *цену себе знаю* видимо больше чем ты я ночная «фея» пишу в 6 утра поздравляю с весной солнышком Геночка я думаю что хорошие твои рубахи не *следует* отдавать в прачечную ибо они скоро полезут и все пуговки разлетятся не ленись стирать мелочи не ходи с «запашком» сынуся почему не хочешь купить костюм ведь у тебя нет приличного костюма все барахло если не растратил деньги то действуй ищи себе невесту не будь хорьком Толя блаженствует до сих пор а Тоня все полнеет ничего не лезет толстуха ищи брюки послала тебе очень поучительное письмо это крик моей души писала ночью и плакала научись считаться с матерью на такой мизер я имею право у Тонечки токсикоз иногда рвота уже скоро ты сказал что хочешь менять работу разъезжать по городам вернее сопровождать с зарплатой 100 рублей но куда это годится не солидная мальчишеская холуйская ветреная работа мне совершенно не нравится а что стоит не поспать ночь другую мне даже стыдно будет сказать где ты работаешь я думала что завтра будет легче

чем сегодня а что же получается ведь должно же быть когда-то лучше а ты все летаешь в облаках заставляешь меня разочаровываться и без того серой жизнью своей и твоей а время идет пора устраивать свою и мою жизнь выкинь дурь из головы будь реальным человеком вспомни отца как он трудился до самой смерти я работаю все праздники чтобы заработать на 5 рублей больше ты ничего не ценишь неужели не сделаешь вывода из моего письма запрещаю куда-либо переходить сыночек здравствуй большое тебе спасибо что часто звонишь я так привыкла к звонкам что всегда вечерком тилим тилим тилим итак кончился день моего рождения день был вкусным весенним дождливым жаль тебя не было спасибо за подарок мы тебя с Микой вспоминали ведь в день моего рождения ей делали операцию помнишь ты ночь простоял под больницей прошло четыре года как ты там доверяешь будильнику неужели не просыпаешь сынуля пишешь ли ты реферат в аспирантуру помнишь ты хотел о Фолкнере надо написать серьезно обстоятельно а не на честном слове в дороге будь осторожен не зевай прячь деньги подальше и пристегни английской булавкой не смейся будь постоянным не летай когда-нибудь получишь квартиру я приеду к тебе я мечтаю у нас телефон сбесился не работал в субботу я хныкала утром прорвало что нового счастливчик твой брат живет с женой и мамой Машки-Пашки на подхвате чистый накормленный купи себе баночку меда нельзя тебе есть все острое вчера послала тебе 10 руб. хочу чтобы ты купил себе баночку меда и маслица пусть будет на завтрак сладенькое хорошо для памяти как с

комнатой вот напасть поспрашивай у хозяев торопись ищи скажи своему директору что у всех есть жилье кроме тебя авось поможет или подскажет как угри поживают не надо есть острое и употреблять спиртные напитки все запоминай и говори по телефону раз не пишешь я с ночи хочу бай-бай целую у нас был Саша он собирается в конце марта в командировку и хочет остановиться у тебя обижается что ты не отвечаешь вчера была Мика просто так зашла как дела на работе старайся пойдешь на повышение Толечка сменил нам телевизор блаженствуем стоит 286 р. экран 50 см влезли в ярмо как тебе голубое полотенце и красные наволочки на твою гривку судили Храпченко за убийство собственной жены дали расстрел негодяю где будешь на праздники иди в театр ведь в компанию нужно 10 р. а жаль на один вечер прими рубашечку в карманчике сюрприз не угадаешь 3 р. ха-ха-ха я буду красивенькой на май пошью новое шелковое платье и ты будь красивым врач уже нащупывает головку не зря всем животам живот но мы все дрожим если не звонишь так пиши почему меня держишь в черном теле сынуся вытирать стол надо влажной тряпкой чтобы он не был липким Тонечкина кабаниха даже не пишет где же правда кто есть мать злая алчная Бог всевидящий придет возмездие посылочку передаю орехи не отравись рыба не подавись мясо не переешь яблоки улыбнись твои любимые ранет кулич посвятись носки натянись духи надушись мыло умойся варенье оближись наперед поздравляю с днем рождения думаю тебе понравится носи на здоровье да не забывай свою мамку звони почаще

очень скучаю тяжело работаю с ног валюсь хочу к тебе люблю Толечка сделал фото видишь я держу в руках маргаритку а солнышко мешает смотреть все все наконец я теперь бабушка радость какая...

Прочел : « The place was full of ticking, like crickets in September grass » (Комнатка в часовом стрекоте, как сентябрьский луг в кузнечиках). Понравилось. Вспомнил Пастернака.

*Текли лучи. Текли жуки с отливом,*
*Стекло стрекоз сновало по щекам.*
*Был полон лес мерцаньем кропотливым,*
*Как под щипцами у часовщика.*

Чуть ниже : « ...and the day like a pane of glass struck a light sharp blow... (а день, как лист стекла, звенящий после легкого и резкого удара) ». А вот как у Пастернака (о полдне)

*Он рухнет в ребрах и лучах,*
*В разгранке зайчиков дрожащих,*
*Как наземь с потного плеча*
*Опущенный стекольный ящик.*

Приятно ловить себя на вкусовой последовательности. Как-то понравилось название одного французского романа — « Гибель всерьез ». Обрадовался, вспомнив потом пастернаковское :

*Но старость — это Рим, который*
*Взамен турусов и колес*
*Не читки требует с актера,*
*А полной гибели всерьез.*

Но самая большая радость случилась со мной

на одной черновицкой улице. Впереди меня, метрах в сорока, шли женщина и мужчина. Ее тень, походка, неслышный перестук каблуков растрогали меня. Я подошел ближе и увидел, что это женщина, которую я уже давно люблю.

В один из наездов к близким я нашел в письменном столе отца газетные вырезки его статей. Как ни странно, там были, главным образом, футбольные репортажи и обозрения. В отделе информации отец никогда не работал и спортивные заметки вызвался писать сам. Я прочел их и восхитился. В них были темперамент, знание, фантазия. В одном из обозрений «Гол забить — не поле перейти» — отец дал настолько остроумные и в то же время строгие определения атаки, паса, штрафного удара, что я даже подумал: а не послать ли это в «Спортивную газету» или еженедельник «Футбол — хоккей». Самая ветхая и желтая, как лист из гербария, вырезка была датирована июнем 1949 года. Сколько же лет было тогда отцу: Тридцать шесть? Да, тридцать шесть. Вот она.

### Благодатные плоды великой культурной революции

Бессмертные произведения Пушкина стали настольной книгой буквально каждой советской семьи. Великий поэт нашел путь к сердцу и разуму каждого гражданина, потому что эта страна, сбросив с себя оковы капиталистического рабства и установив власть трудящихся, свершила на основе советского строя, на основе победы социализма величайшую культурную ре-

волюцию.

Было время, когда капиталистические страны кичились перед Россией своей «цивилизацией». Было, да давно прошло! Сбылось предвидение великого русского демократа Белинского, писавшего о том, что он завидует внукам и правнукам своего поколения, которым суждено увидеть Россию во главе образованного мира, дающего законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества. Ныне наша Родина является страной самой передовой в мире культуры, светочем цивилизации, знаменосцем самых передовых идей всех времен и народов.

Где уж теперь заправилам капиталистического мира «кичиться» своей культурой! Их «культура» не только осталась далеко позади — она давно погрязла в маразме, выродилась, сгнила на корню. Всегда далекая от народа, органически чуждая ему, буржуазная культура в наше время окончательно обнажила свое лицо — лицо служанки эгоистических, корыстных интересов верхушки монополистического капитала.

В яркий и радостный праздник социалистической культуры превратилась подготовка к отмечаемому завтра 150-летию со дня рождения великого русского поэта Пушкина.

Столица нашей Родины — Москва и славный город Ленина, Украина и Белоруссия, Грузия и Азербайджан, Средняя Азия и Прибалтика, Урал и Сибирь — вся необъятная наша страна от Тихого океана до устья Дуная, от Заполярья до Памира чествует память великого поэта.

Случайно ли это? Конечно, нет! Такова при-

рода, таковы преимущества социалистической культуры, обогатившей, неизмеримо расширившей духовный мир каждого советского человека.

При жизни Пушкин мог только мечтать о том, чтобы его имя назвал всяк сущий на земле нашей Родины язык. Мечта поэта сбылась лишь в наше, советское время, когда все сокровища культуры стали достоянием широчайших народных масс.

Год от года, день ото дня все богаче, все обильнее, все разностороннее становится наша советская культура. Растут кадры интеллигенции всех специальностей, вышедшей из самой гущи народной. В высших учебных заведениях нашей страны обучается 734 тысячи студентов, а вместе с заочниками — больше миллиона. 34,5 миллиона советских детей, юношей и девушек учатся в начальных, семилетних, средних школах и техникумах. Непрестанно возрастает сеть городских и сельских клубов, домов культуры, библиотек, театров и других культурно-просветительных учреждений. Множится число выдающихся произведений советской культуры и искусства.

Отмечая юбилей своего великого поэта, народы нашей страны с особым чувством произносят в эти дни его вдохновенные, бессмертные строки:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Померкла и истлела «ложная мудрость» трубадуров капитализма, твердивших, что эксплоатируемым никогда не обойтись без эксплоатато-

ров, что капиталистический строй «вечен», что трудящимся не хватит «культурности», чтоб построить новую жизнь без капиталистов, на основе сотрудничества и братской взаимопомощи свободных от эксплоатации людей. Измышления этих «ложных мудрецов» опровергнуты всем ходом исторического развития.

Силы старого, отжившего свой век, капиталистического мира еще пытаются повернуть вспять колесо истории. Тщетно! Силы социализма и демократии непобедимы. Великие идеи коммунизма, идеи Ленина-Сталина, подобно яркому солнцу, осветили человечеству путь к счастью и прогрессу народов, к безграничному развитию производительных сил, к всестороннему расцвету культуры.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Как медленно, медленно, медленно раскручивается маховик. Еще минуту тому ты шел улицей, вдыхал воздух и выдыхал слова. Теперь ты дорвался до бумаги — сейчас посыпется, как черешни из-за пазухи. Но потерпи. Еще, еще мгновенье, чтоб вскочить на подножку своей любимой, единственной, невозможно жить без которой, повести на полном ходу. Пусть охнет женщина, пусть пробормочет «сумасшедший», а ты улыбнешься белыми острыми зубами. Разве есть счастье большее, чем писать от первого лица?!

А на террасе девочка с мячом — о Боже! мяч торжественно летит по дуге, и пальцы неуверенно, словно вспоминая что-то, трогают синюю с красным резиновую кожуру и тяжелеют. Игра в «десятки» с девочкой — с каждым ударом все

ловче. Чет. Нечет. Головокружение. Плавно падающий лист в конце лета. Девочка с мячом — о Боже! Сейчас вы расстанетесь. Кончается третья смена. Синеватый — от автобусов — душок бензина, таинственные взгляды старшеклассниц; влажнеют гайморовы полости. А площадка еще забрызгана детьми — за ними приедут машины с острыми плавниками и навсегда, до следующего июня, развезут по мальчику, по девочке, по прозрачному голоску, по исцарапанной коленке, по маленькой и твердой, как зеленая майская сливка, груди. Там, далеко за сугробами уже пружинисто горнит горнист; здесь: охра в горле, помятый обходной в руке. Ты все сдаешь? Ты ничего не оставляешь? Девочка на террасе. Следы ее пальцев, пахнущие земляникой, пять сгустков нежности на пугливой перепонке воздуха. Падающий лист в конце лета. Плющится дождевая капля о ключицу.

Все люди росли в детдоме. Некоторые забыли об этом. Некоторые помнят. Я помню. Вчера я провожал маму. Дул ветер. За спиной была плохая погода. Визжали самолетные двигатели. Всех пассажиров собрали за сквозной железной оградой, а потом повели по бетонному полю. Я плакал. Нелепые, с тюками, чем старше — тем младше, они шли по-детдомовски, а где-то впереди маячила спина Януша Корчака. Ночью мне приснилась бесшумная туго спеленутая субмарина. Утром не позавтракал и понял: мама уехала. Сегодня же улетает в Москву девочка «не позже одиннадцати». Те, кто остаются, скучают больше. И еще одно кажущееся наоборот: приехал мой университетский товарищ. Дороги наши совсем

разошлись. Мы спорим не словами. Так что его приезд можно приплюсовать к разлукам.

Самый громкий дождь в моей жизни стучал ночью в крышу лагерного корпуса. Колыхались взъерошенные, расхристанные тени деревьев на стенах. Мальчикам в лагере страшно. Девочкам нет. Я в образе девочки : с раскосым именем Ира, с зеленоглазым — Лина, Али — с голоском, словно на одуванчик смотрит. Кто я : воспитатель ? ребенок ? Я размахиваю подушкой в облаке пуха и перьев и тут же отворяю дверь и кричу себе « Брось подушку ! » В самом тайном — продирались : царапины на щеках — уголке, между листьями, небом и землей мне говорит девочка :

— Ты никому не расскажешь ?

Она распахивает кулачок. Искрятся зеленые осколки июня, красные — августа, голубые — балтийских вечеров. Обжигая подушечки, ты подносишь их до ресниц, до рези. Мы откапываем ямку. Мы схороним эти стекла, чтоб маяться зимой, чтобы хотеть вернуться сюда, по-оленьи разгрести снег, чтоб брызнули наши ягоды. В восточных сказках юноши развязывают котомки, и пока ветер разносит их годы на все четыре стороны, юноши на глазах превращаются в стариков. Разноцветные стекла. Наши секретики Пусть и через тыщу лет распахнется девочкин кулачок.

— Нет, никому. Никогда. Ни за что.

Помнишь ли время, Игорь ? Нашу первую учительскую зиму в Карпатах. Белизна и хруст Мы прибегали с пересохшими ртами после шестого урока в расстегнутых — в интернате всё рядом — пальто и, отбросив общие тетради с поуроч-

ными планами, подносили синие от холода и мела пальцы к трем никогда не выключаемым электроплиткам, трем раскаленным крабам, и пальцы оживали. Потом наливали упругое вино в кружки и с лязгом чокались, выбивая искры. Об оконные стекла позвякивал вязкий январский воздух, а ты улыбался летучей, как запах вина, улыбкой. Вечером приходили братики Слыжуки и пятиклассница, в которую мы оба были влюблены, Орыся Терен. Свет и тепло в ее глазах и дыханьи: за хрупкими лопатками — астральный холод и тьма. Мы занимались английским. What is it? It is a pen. What is it? It is a book.

Девочка, ты не звонишь мне из Москвы. Забежала твоя подруга, принесла книгу. Она ничего не помнит про себя в лагере, кроме ночного дождя. Я вернулся к уже написанному абзацу и вставил предложение про дождь.

Кончается третья смена!

— Я не подпишу вам обходной, Люстрин, — говорит кастелянша, — у вас недостает двух наволочек.

Я поворачиваюсь и бегом устремляюсь назад. Тихо и пусто на поляне сборов. Одиннадцать вечера. Я поправляю простыни на своих мальчиках; они уже спят, и сны про Черную руку повергают их в сладчайший, тишайший ужас. Ворота с кустарной надписью «Жемчужный берег». Мы спускаемся гурзуфскими винтовыми улочками, и вот уже море бросает к нашим босым ногам охапки белой сирени. В полдень на этом отрезке пляжа, дрожа от нетерпения, ждали дети команды плаврука «Раз. Два. Три!» Мы плывем, резгребая густую. как ночь, воду, и наши тонкие

кисти покрываются пузырьками и становятся похожими на две ветки кипящей сирени. Рядом твое смуглое тело. Плеск волос. Как светятся на твоей груди две белые розы, две белые голубки!

А я все бегу. Назад. Назад. В дедушкино лето. Брызнули косточки из зеленого нежноколючего туннеля трубочки; сердце сжалось в кулачок; еще молодой дед; липкие стволы черешен; густые капли винограда; я целую его в улыбку. Деда, у меня болит зуб. Он — сухопарый, фельдшер, высокий, в белом халате, перед замкнутой дверью кабинета, с гвоздем в руке, ах, поцарапался, а двери уже отворены, скрип застекленной дверцы, воскресенье, ярлычок «камфорное масло». Я спасен. Вечером на ступеньках санаторного домика я играю в подкидного с медсестричкой Валей при свете ее халата; ничего, ничего не видно — ни моих, ни ее карт, а мы все играем, как под гипнозом; ее лицо рядом; затмение луны; поцелуи — зайчики по лицу. Потом она смачивает платок слюной и стирает помаду с моих щек и губ; ярче помады горит мое лицо.

— Дедушке ни слова, — то ли ласково, то ли с угрозой шепчет она.

Кончается третья смена. Завтра закупорят окна, заколотят двери, повесят на ворота тяжелый, как остановившийся маятник, замок. Я сажусь в последний автобус. Перечитываю написанное. Оглядываюсь в последний раз. Наволочек я не нашел. В бухгалтерии обкома союза у меня вычтут за них из зарплаты. Глупо, но что поделаешь?

Кьеркегоровское «собственно человеческое — это страсть» растворено в романе, как соль.

Иногда вечером среди светящихся городских окон замечаешь душераздирающе яркие. За окном Фолкнера — все лампочки мира. Об энергии художника говорить трудно: она неуловима, ибо проявляется не в сюжете, не в мотивах, не в так называемой идее и в то же время она пронизывает все. Книга может быть вторичной, банальной, на грани пародии, но если в ней есть писательская энергия, от книги трудно оторваться. Эта энергия диктует особый ритм: синтаксический, образный, событийный. Романы Достоевского похожи на историю болезни эпилептика. От приступа, с судорогами и битьем головой о землю, — через ремиссию — к новому приступу. От грандиозного скандала, после которого, казалось бы, лучше умереть, чем появиться в следующей главе, — через затишье — к еще более грандиозному скандалу. Энергия Фолкнера реализуется в монтаже; он стыкует нестыкуемое; это относится к искусству сталкивать слова, предложения, ситуации, персонажей. Только искры сыплются. Весь объем своего романа он держит на весу. Он непредсказуем. Что ни слово — снег на голову.

Найдите-ка у Фолкнера незначительных родителей. Они могут быть слепцами, фанатиками, пьяницами, но они всегда во всех фолкнеровских книгах значительны. В этом — отношение писателя к прошлому. Корням. Один из героев романа «Свет в августе», священник Хайтауэр, читает своим прихожанам необычные проповеди: в них Иисус Христос смахивает на отчаянного наездни-

ка, библейские легенды переплетаются с россказнями о военных подвигах южан, а земля иудейская пахнет прерией. Родословная Фолкнера — это родословная юга. Его предки командовали кавалерийскими полками, становились жертвами вендетты, сами хладнокровно разряжали револьвер в грудь врага. Прадед его был не только лихим рубакой (он и погиб от руки политического соперника), но и автором бестселлера «Белая роза Мемфиса». Я не о том, что творчество Фолкнера автобиографично. Я об истоках его энергии. «Кровь старше нас», — писала Марина Цветаева

Две силы раздирают «Шум и ярость» — центростремительная и центробежная. Это относится и к «как» и к «что». Образы выламываются из романа, «предмет сечет предмет», морфология раскована, синтаксис — разнуздан; этот фактурный драматизм создает атмосферу книги больше, чем сюжетный. Когда-то славная фамилия отмечена печатью вырождения. В семье идиот, самоубийца, алкоголик, злодей. Все погромыхивает, позвякивает: вот-вот развалится, как самолет в воздухе. И все же: в романе каждый жест и ход, и пауза — непреложны, подчинены художественной логике. То, что две трети «Шума и ярости» написаны от лица трех персонажей, — не формальный прием. Таково фолкнеровское миропонимание: «я» — центр солнечной системы; эти «я» пересекаются, но не совмещаются; они приговорены к одиночеству и непониманию, но, невзирая на приговор, пытаются преодолеть их.

Некоторых писателей хвалят за сдержанность, вкус, умение владеть своими порывами. В контексте десятилетия чья-то сдержанность и впрямь

может показаться чуть ли не мужеством. Но. Писать сдержанно — это заведомо играть на ничью. Избыточность — мета гения. Фолкнер играл на выигрыш — без верхнего предела в счете.

В одном развлекательном фильме английскую принцессу интервьюируют корреспонденты. Где Вам больше всего понравилось во время последней поездки по Европе? На традиционный вопрос должен последовать традиционный ответ. Мол, Брюссель хорош тем-то, Цюрих — тем-то. Принцесса так и начинает, но потом срывается и восклицает: «Ну конечно в Риме!» Принцесса была счастлива там, потому что любила. Спору нет: интересны, значительны Гессе, Беккет, Антониони. Прекрасно, что они есть. Но. Но. Конечно же Фолкнер. Феллини. Пастернак. Рим!

Новаторство — это качественный сдвиг традиции. Джойс и Фолкнер были бы невозможны в англоязычной литературе без Шекспира. Это он работал с языком по-мясницки. Это его руки по локти в языке. Что ни строка, то белый карлик. Сплав страсти и дурного вкуса.

При чтении разбегающейся прозы Фолкнера мысль о бесконечности и безграничности Вселенной становится ощутимой и реальной.

Внутренняя коллизийность искусства заключается в том, что художник пытается духовное выразить через материальное. И вот какая странная штука получается: чем предметней и вещней произведение искусства, тем ближе оно к Богу; чем сокровенней оно — тем общественней.

Уже апрель. Ты вернулась Идет дождь. Мы

стоим у раскрытого окна. Я слизываю капли с ее лица. Я целую воздух со следами ее ресниц и не могу остановиться. Наверно, мы скоро расстанемся.

В ту пору, когда я не только впервые понял, но и ощутил, что женская кожа и губы отличаются от моей кожи и губ, весь город танцевал под танго «Маленький цветок». Четверо молодых людей, с не по моде длинными волосами, уже репетировали где-то в Ливерпуле бит-революцию, а мы с какой-то напряженной серьезностью — два к одному, два к одному — перемещались под завораживающую кукольную мелодию, не разговаривая, не улыбаясь. Быть может, из-за этого танго, которое ныне не так уж многие помнят, мы оказались ближе к своим старшим братьям и сестрам, чем к младшим. Так вот, именно в том году, буквально за несколько месяцев до первого инсульта, отец упомянул один факт из своей биографии, который, уже после смерти отца, заставлял меня, по крайней мере мысленно, перенестись в далекую военную зиму, когда отец еще не познакомился — да и знать не знал о приближающемся знакомстве со своей будущей женой, то есть моей матерью. Дело обстояло так. В первую военную осень отец ежедневно обивал пороги военкомата, прося, настаивая, требуя отправки на фронт. Молодежную газету, которую он редактировал, не прикрывали до тех пор, пока фронт не приблизился вплотную. Тогда, наконец, отцу дали два кубаря, но откомандировали не на запад, а на восток, в город Куйбышев. Там тоже никто толком не знал, что с отцом делать: диви-

зионные газеты были уже забиты журналистами и примкнувшими к ним писателями, которым служба в военной прессе представлялась более осязаемым вкладом в дело защиты Отечества, нежели эвакуация, неустроенный быт временных прибежищ и корпение над бумагой в нетопленных — так что чернила превращались в фиолетовый осколок льда — комнатушках. Нет зрелища более плачевного, чем здоровый безработный мужчина. Отец мыкался, стучал во все двери, пока не достучался. Он получил направление в некий пункт Куйбышевской области, где, как ему объяснили, нуждались в толковом политработнике. Все вышеизложенное я вспоминал, сидя с авторучкой у стола, почти без усилий, хотя слышал об этом десять с лишним лет тому назад, вскользь, не подозревая, что вся эта история — назовем ее так — впоследствии окажется для меня несравнимо более важной и значительной, чем она представлялась отцу. Дальше — хуже. Дальше — не события, но отношение к ним, не последовательное изложение, а обрывки фраз, слова, жесты. Голос отца : проволока... подонок... запах селедки и сивухи... допросы. Потом более связно : лагерные ворота, колонны — не с песней, портретами вождей и кумачом, а — под жестяные марши декабря — с обреченностью в поступи, угасшими лицами. И ты, ты, отец, рядом, плечом к плечу, « толковый политработник », рядом с раскосым конвоиром, тебя поставили тут, дали два кубаря, в снеговороте завирухи, бьешь, бьешь правым носком сапога о левую пятку и снова — левым о правую; опущены уши ушанки и тесемки завязаны бантиком; слезы на твоих

глазах, щеки пунцовы, папа, ведь правда, это не ветер выбил слезу из тебя и не от мороза зарделась твоя кожа?! Вы, проклятые взрослые, кто жили тогда, почему вы не сгорели в огне стыда?! Вам никогда уже не распустить тесемок — они завязаны мертвым узлом. Так бейте же: левым о правую, правым — о левую!

К весне отцу удалось перевестись в дивизионную газету. Я благодарен ему за то, что он добился этого перевода.

Почему сараевским выстрелом стал для меня Фолкнер, а не, скажем, поздний Сэлинджер, читая которого я никак не могу решить: то ли я это сам написал, то ли это обо мне написано. Как-то Квентин, возвращаясь на каникулы домой, высунулся из вагонного окна и перекинулся несколькими словами с незнакомым негром, сидевшим неподалеку верхом на муле. Разговор получился пустячный, но это был классический диалог двух южан: черного и белого. Почти ритуальный обмен шутками, причем каждый из собеседников соблюдал правила игры не по договору, а потому что эти правила впитал с молоком матери. Фолкнер взял меня не щедростью, не свободой, не мастерством. В последний приезд ко мне мама оставила прошлогодней давности фотографии. На них наш сад; на веревочке для сушки белья висит целлофановый мешочек в капельках то ли дождя, то ли росы; все залито солнцем: сплошные блики; и две фигуры: трехлетняя соседка Катенька с любимой куклой в руках и я — в лиственных прохладных руках сада, молодой и веселый, словно снимок сделан десять

июней тому. Фолкнер для меня свой, не в фамильярном — в самом высоком смысле этого слова. Я работаю учителем и знаю: среди детей — много взрослых; правда, меньше, чем среди взрослых. Фолкнер с упрямством и неистовством мальчика, исхлестанного крапивой и ливнем, пытался разомкнуть литературу на дыханье, на мгновенье, на жизни. Есть замечательные, грандиозные писатели, оставившие после себя всеми читаемые и почитаемые литературные произведения. Фолкнер не писал литературных произведений — их пишут взрослые. А он был поэт.

Я не разбирал его; не учился; не подражал. Я разговаривал с ним — он ведь свой — и вот что из этого вышло. Наверное, что-то получилось живым, что-то осталось тенью. Боюсь, Девочка так и не материализовалась. Я склонен это объяснить тем, что, пока повесть писалась, она была рядом со мной во времени. Быть может, лет через пять или пятнадцать я скажу о ней лучше и точней. Вчера вечером в чужом доме меня мучила вполне интеллигентная супружеская пара: они требовали объяснить, почему роман «Великий Гэтсби» — хороший роман. С ощущением безнадежности и отчаяния я снова и снова объяснял, буксовал, трепыхался; а они снова и снова не понимали и всё ждали чего-то. Я б так и умер там с хрипом и пеной на губах, если б горячий профиль Девочки не крикнул им:

— Он всё, всё сказал!

Разве я могу написать о ней, как надо? Ведь она еще, слава Богу, не эстетическая реальность, но самая что ни на есть жизнь.

Остались считанные минуты. Я вспоминаю си-

ние, утконосые, послевоенного выпуска автобусы. Как горько нам было возвращаться в них из города, где мы за субботу и воскресенье проматывали месячный заработок, в интернатский неуют. На пятом-шестом часу пути, на крутом подъеме или смертельном спуске, автобус останавливали седовласые просмоленные гуцулы. Они входили в него, как в хату, и говорили «Добрыдень». Я всегда завидовал людям, умеющим быстро и решительно прощаться. Вот я стою в передней. Плащ застегнут, шляпа в руке, а я всё тяну и тяну. Ну вот — кажется, всё.

Март - апрель. Киев

---

**Померанцев, Игорь Яковлевич** — родился в 1948 году в Саратове. Окончил английское отделение Черновицкого Государственного университета. С 1972 года жил в Киеве. Работал учителем, переводчиком, патентоведом. Подборки его лирических стихотворений печатались в журнале «Смена». В 1978 году эмигрировал. Ныне живет в ФРГ.

**Жан Катала**

## СЛОВО ИЗ ТЬМЫ

Я познакомился с Юрием Домбровским в 1967 году. В 1965 году он опубликовал в «Новом мире» — в ту пору это был еще приют для «вольнодумцев» — роман «Хранитель древностей», который, по мнению знатоков, остается и сегодня одной из лучших книг советской литературы. Внешне непринужденное повествование о репрессиях в Алма-Ате в 1937 году послужило предлогом для первого и пока единственного серьезного истолкования сталинского террора в свете мировой истории деспотизма. Я переводил «Хранителя» для издания во Франции, и автор пришел к нам на Сивцев-Вражек.

Я знал в общих чертах его биографию, и все же было трудно поверить, что этот высокий человек, с лицом, изборожденным морщинами, но с живыми глазами и резкими жестами, с темной и пышной шевелюрой, несмотря на приближающееся шестидесятилетие, пробыл почти четверть века в ссылках, тюрьмах, лагерях. Я попросил его уточнить некоторые детали: пять арестов, первый в 1932 году — ему было тогда 23 года и он был студентом в Москве, — высылка в Казахстан, где он снова, во время великого террора, попадает в лапы НКВД, освобождение, новый арест, новый лагерь, и так — «из Замка в Замок» — до 1957 года. Чем он гордился единственно, так это тем, что ему удалось добиться — но с каким упорством! — пять реабилитаций. О том, что́ он пережил, а выжить само по себе

было подвигом, он не распространялся. Он относился к своему прошлому как к историческому факту, вернее как к факту Истории, и судил о нем с присущей ему свободой мысли и с той высоты, которую дает род культуры, довольно редкий в СССР : культуры гуманиста, для которого античный мир представляет такую же реальность, как и наша современность. В течение двух часов мы беседовали о предметах парадоксально актуальных, о Блаженном Августине, о Сенеке, о Пелопонесской войне, о преследованиях христиан, о Римской конституции и о Понтии Пилате. Тогда я еще не знал, почему последний его так интересует.

Прошли годы. Его имя не появлялось на страницах литературных журналов. Два или три раза мы встречались. Он говорил, что погружен в работу над большим романом, продолжением « Хранителя ». Последние вести о нем, перед нашим отъездом во Францию в 1973 году, были неутешительны : он уже не надеялся на публикацию и тем не менее писал « в стол »...

И вот неведомыми путями прибыл в Париж солидный пакет, 800 страниц на машинке, рукопись « Факультета ненужных вещей ». Очевидно, предчувствуя близкий конец, Домбровский решил отдать на волю волн свою книгу-завещание. Книга пристала к берегу. Автору довелось узнать последнюю радость : увидеть свое детище напечатанным на русском языке в Париже и отпраздновать это с друзьями — прежде чем его настигла смерть 27 мая 1978 года.

« Литературная газета » даже не сочла нужным сообщить читателям о смерти Юрия Домбров-

ского.

На первый взгляд, « Факультет ненужных вещей » это продолжение « Хранителя древностей ». Действие происходит в той же Алма-Ате, в том же 1937 году, да и тема та же : репрессии, но на сей раз они коснулись самого героя — Зыбина. Мелькают знакомые лица : Корнилов, Клара, Директор музея, бригадир Потапов. Посвящение Анне Берзер, которая « вела » в свое время « Хранителя » в « Новом мире », подчеркивает связь между двумя романами; той самой Анне Берзер, которой обязан, по словам Солженицына, своим появлением « Один день Ивана Денисовича ». Две даты на последней странице « Факультета » (10 декабря 1964 - 5 марта 1975 года) свидетельствуют не только о десяти годах труда. Между ними лежат и десять лет истории Советского Союза.

В « Хранителе древностей », используя весь набор тайнописи, скрытые и явные намеки, шифры, аллюзии, Домбровский сумел высказать то, что хотел. Но вскоре ветры повеяли в другую сторону. Перепуганные Пражской весной, « хранители » советской идеологии насторожились — никаких разоблачений культа личности. Более того, открылся путь для публикации сначала мемуаров, а затем и романов, постепенно реабилитирующих пострадавшего диктатора. Цензура усиливает бдительность. Наступает царство « гасителей разума ».

Отныне Домбровский пишет, отбросив всякую узду, он пишет для себя. Взяв за основу рассказ о своем втором аресте, он, с одной стороны, развертывает широкую панораму тюремной и лагерной жизни в 1937 году, а с другой, дает

вертикальный разрез советского общества. На вершине этого памятника эпохе возвышается развенчанная фигура Сталина, а основанием — служит расправа над Христом. Если вначале Домбровский и собирался написать «просто» продолжение «Хранителя древностей», то законченный роман оказался настолько значительнее предыдущего, что их можно сравнить с «Парсифалем» и Увертюрой к нему.

Парадоксально, но в то же время и логично: из страны с самой угнетенной литературой к нам пришла самая свободная книга. Она могла бы пропасть, как исчезли многие античные тексты, память о которых преследует Зыбина, alter ego Домбровского.

«Факультет ненужных вещей» состоит из пяти частей, но роман напоминает скорее лесную чащу, чем классическую трагедию. Множество персонажей. Одни появляются, выходят на авансцену, а затем бесследно исчезают. Начало действия разворачивается в нарочито замедленном темпе. Рассыпанные щедрой рукой, мысли нагоняют одна другую. Отступления разбегаются во все стороны. Можно было бы приписать это лихорадочному письму, всё убыстряющемуся с уходящими годами. Но все свидетели единодушны: Домбровский грешил скорее чрезмерной тщательностью письма. И кажущаяся несвязность глубоко продумана автором.

Реалистический рассказ и подсказанная им мысль связаны в виде контрапункта. Вставные новеллы (о художнике Калмыкове в первой части и на последней странице романа), разнообразные

эффекты эха (кости допотопных животных, заброшенные кладбища, останки скелетов преследуют Зыбина похоронным звоном в последние дни перед арестом), повторы жестов и слов, символика сновидений, а их великое множество в романе, с незаметными переходами от грез к яви и обратно, метафоры, аллегории (мертвая роща с трупами стоящих деревьев, задушенных обволакивающей их пышноцветущей повиликой, или чудовищный краб, задыхающийся в темнице, под кроватью, но всеми силами сопротивляющийся смерти), — можно было бы продолжить примеры « перекличек » различной тональности, так и не завершающихся финальным аккордом.

Искусство « недосказанного », не нужное больше как способ маскировки, превратилось у Домбровского в средство художественного выражения : с тем чтобы тьма стала еще плотнее и чтобы читателю — как и герою — пришлось бы пробираться наощупь в аду ночи.

« Факультет ненужных вещей » — первый роман, который с такой полнотой открывает внутренний мир аппарата НКВД, частную жизнь его работников, закрытую от посторонних глаз и отличающуюся от жизни простых смертных, в общем-то, весьма скромными привилегиями : ведомственной квартирой, соответствующей чину, дачами, просмотрами кинофильмов « в своем кругу ». Домбровский показывает нам и функционирование органов, методы следствия, где всё построено на лжи, всё зиждется на иерархии, на произволе, на внутренних, чисто, византийских, конфликтах между коллегами, между милицией

и прокуратурой, между республикой и столицей. Внешне всемогущий, этот мир раздираем изнутри. Каждый знает, что его друг — не сегодня, так завтра — станет его обвинителем. Скрытый страх душит сердца, и регулярные — но всякий раз неожиданные — чистки обновляют состав аппарата : в этом доме долго не засиживаются. Все его обитатели душевнобольные : и вылезший из низов кретин Хрипушин, и процветающая сволочь Штерн, и трясущийся палач Нейман. Они усердствуют изо всех сил, придумывая нелепые заговоры, чтобы их далекая провинция тоже могла бы похвастать парадным процессом. Но, став « творцами », согласно циничному выражению одного из чекистов, они не могут не поверить в собственные « творения ». Жертвы долга, они становятся параноиками.

С тем же проникновением в извилины души нарисована и фигура Сталина. Ни великий человек, ни монстр, Сталин у Домбровского совсем не похож на солженицынский шарж из « Круга первого ». Он способен на благодарность за услугу, оказанную в молодости. Но знает он только один вид правления : террор. Самодержец, какими были разве что римские императоры, он играет — возможно не только для других, но и для себя — комедию государственного мужа, придерживающегося законов, и даже сожалеет, что не имеет полноты власти « всероссийского государя-императора ». Гордый своим грузинским патриотизмом, он хвалится тем, что его земляки (Окуджава и Енукидзе) стоят на смерть и не « раскалываются » на допросах, как русские, что, впрочем, не мешает ему отправить и тех и других — с

чистой совестью — на расстрел. Когда-то он был, по словам друга молодости, « общительным, даже остроумным ». А теперь мстит всем за унижения, нищету и муки своего страшного детства (рассказ о детстве может даже тронуть читателя). Из других источников мы знаем, что Сталин любил повторять в кругу своих : « Меня принимают за героя Шекспира, а я ведь чеховский персонаж » (см. Д'Астье). Фигура Сталина тем страшнее, чем человечнее он выглядит. Для того чтобы уничтожить миллионы людей, вовсе не обязательно быть сверх-человеком. Эта мысль дорога Домбровскому.

Психологический лабиринт в духе Достоевского характеризует и других его героев. Молодой археолог Корнилов ненавидит советскую власть. Казалось бы, он и станет первой жертвой органов. Но становится он не жертвой, а добычей, стукачом по « доброте душевной », чтобы обелить бывшего архиерея собора, на которого якобы поступил поклеп. А чего стоит сам поп-расстрига, отец Андрей ! Бывший каторжник, бродяга, пьяница и развратник и при том человек ученый, умудренный жизнью и знаниями : в нем соединились высота культуры и низость падения — отец Андрей профессиональный доносчик и капает в органы на того же Корнилова. Но даже и в этом случае Домбровский не судит — он жалеет. « Живой труп » Корнилов топит свою совесть в водке. Что же касается отца Андрея, то Домбровский вкладывает в его уста евангельский урок этого жестокого романа.

Герои романа — а они ведь просто люди — живут в мире нелюдских злодеяний. Домбровский

описывает его с нарастающим крещендо. Слухи о применении пыток, затем указы, наконец сцены пыток. Случайно обнаруженная камера смертников, затем уборные, где приговор приводится в исполнение, и только потом начинается рассказ о полосе расстрелов в лагерях. От «лиги самоубийц» к фотографии молодой женщины, которая бросается под поезд после ареста мужа, и, далее, к подробному описанию волны «беспричинных» самоубийств в лагерях — нет, не среди заключенных, а среди охранников, прямо на вышках, из ружья. Путешествие в фантастический, неправдоподобный край кошмаров заканчивается письмом врача об использовании трупной крови свежерасстрелянных для переливаний. И всё это факты. Автор говорит только о том, чему он был свидетелем или что он может доказать, будь то показания Назыма Хикмета на процессе конца 20-х годов, или неизвестные детали биографии Сталина, или предсмертное письмо Фадеева. Писатель не подменяет в Домбровском историка, первоклассного историка. Одной фразы достаточно, чтобы, мы увидели Бухарина без пуговиц, без шнурков, в кабинете Вышинского, чьим благодетелем он когда-то был. Вся чудовищная ложь эпохи сконцентрирована с сжатостью Тацита в афоризме Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — в тот самый момент, когда миллионы людей гибнут на каторге. И Домбровский не имеет себе равного в анализе корней коллективного психоза.

НКВД, подобно Инквизиции, руководствовался принципом, что невиновных нет. Для Домбровского их действительно нет — потому что все

соучастники. Неизбежность войны, вполне реальная и одновременно питаемая пропагандой, подогревает веру в Вождя и Учителя. Слепая вера — « Сталин всегда прав » — туманит даже здравые головы, и Зыбин, особенно вначале, чуть не поддается всеобщему психозу : мы окружены врагами ! Террор сопутствует всякой диктатуре, но Домбровский напоминает, что это началось не вчера (аресты служителей культа, меньшевиков, кулаков), поэтому к 1937 году, когда психологически всё подготовлено для новых массовых репрессий, террор достигает своего апогея. И по его пятам, сопутствуя ему, идет всеобщее доносительство. Тема эта появляется в литературе не впервые. Но Домбровский заново поднимает всю проблематику, ни один аспект не оставляя в тени : доносят на чужих, чтобы спасти близких; оговаривают своих, чтобы спасти собственную шкуру; подписывают показания на себя в надежде избежать пули; донос становится гражданским долгом по отношению к коллегам, подчиненных — по отношению к начальству, и так без конца. Совершенно справедливо дед-столяр сравнивает всех этих доносчиков с собаками, которых везут на живодерню : « Он на меня, я на него, а телега всё идет своей путей. А там всем будет одна честь ».

Каландарашвили объясняет — с позиций бывшего юриста — этот разврат умов и нравов : во имя марксизма, в двадцатые годы, профессора с университетских кафедр провозгласили : « Долой право ! », призывая разбить « одну из цепей, которыми буржуазия оковала пролетариат ». И разбили. И освободили. так же как философы, во

имя социалистической целесообразности, освободили человека от нравственного сознания. Революционная идеология уничтожает само понятие: Справедливость — Несправедливость.

Домбровский не отбрасывает интерпретацию Каландарашвили — заглавие романа тому свидетельство. Но вместе с тем полностью оно его не удовлетворяет. Сталинская система рассматривается им гораздо шире. Прежде всего это система, при которой человеческие слова теряют обычный смысл и «гуманизм» становится пороком, «доброта» оскорблением, «терпимость» — государственным преступлением; эта система пытается повернуть вспять развитие интеллектуальной и нравственной культуры, иначе говоря — человеческой цивилизации; при этой системе «сама мысль — преступна», ее надо «задушить в зародыше», как говорит высокопоставленный чекист, большой любитель Достоевского. Если выиграет Гитлер, — восклицает Зыбин, — победит варварство и всё придется начинать сначала, «звать обезьян». Но если победит Сталин, зло непоправимо. Тогда мир пропал. Тогда человек осужден. На веки вечные. И не останется следа от Разума, Совести, Добра, Гуманности, которые человечество унаследовало от древнего мира. Миром будет править Кнут, Кулак и Тюрьма.

Для Домбровского то, что мы называем сталинизмом (знаменательно, что он не употребляет этот термин), не просто несчастье России, не просто явление, присущее определенной идеологии, но то самое прошлое, которое кое-кому служит козлом отпущения. Сталинизм, как и фашизм, это рак на теле истории.

Значит ли это, что следует опускать руки? Деспотизм существовал во все времена, но в каждую эпоху человек сумел найти выход. Таков смысл третьей части романа, единственной, имеющей подзаголовок: «Masmera min Hazluv», «Длинные гвозди креста» в переводе с древнееврейского.

Роман в романе, история Страстей Господних, рассказанная отцом Андреем своему брату во грехе Корнилову, потрясает своим величием. И в ней ключ книги. Вспоминается Легенда о Великом Инквизиторе, и отец Андрей упоминает о ней — чтобы оспорить понимание Христа Достоевским. И другая книга приходит на память: «Мастер и Маргарита». Но у Булгакова осуждение и казнь Христа составляют неотъемлемую часть фантастической фабулы романа, в то время как Домбровский стремится постигнуть как можно ближе историческую реальность. Огромный литературный багаж Домбровского — Новый Завет, Апокрифическое Евангелие, Сенека, Евсевий Кесарийский, Иосиф Флавий — способствует глубине мысли, широте взгляда, богатству идей и придает этим страницам особую насыщенность.

Исходная аксиома автора: чтобы понять век нынешний, надо оглянуться на прошлое. Бывали в истории подобные периоды, когда царили «тьма и безысходность», когда правили «упыри и уродцы» и назывались они императорами, то есть вождями: «Оглянуться было не на что. Ожидать было нечего. Настоящего не существовало.. Сзади могилы и впереди могилы». Рим пережил эту трагедию. И из этой тьмы родилась религия Человека, как такового, человеческой личности, ибо

только она смогла стать опорой.

Языческие философы это прекрасно понимали: «Несть Эллина, несть Иудея» святого Павла — могло быть сказано Сенекой. Но только христианство сумело внушить античному миру идею возвышения человека. До-христианские мыслители не пошли бы на смерть ради нее. Христос же отдал за человека свою жизнь. Ценность идеи определяется ценностью того, *кто* вкладывает в нее самого себя.

Для Порфирия ни Христос, ни апостолы отнюдь не герои. На кресте Христос приходит в отчаяние. Петр отрекается от своего учителя. Все апостолы, за исключением Иоанна, скрываются. «Человеческое, слишком человеческое» — оказалось в них сильнее. Но «ессе homo», которое мы можем применить к ним, определяет не только человеческие слабости. Величие человека измеряется свободой выбора. В решительный момент, перед синедрионом и Пилатом, Христос «чтит дело своей жизни больше самой жизни». Какое может иметь значение тот факт, что, принимая страшные муки, он вел себя не как патриций, вскрывающий вены и беседующий о проблемах души! Он сам выбрал смерть, он, который так любил жизнь, и поэтому он умер «осмысленно и свободно». Сенека же умер только храбро: бежал от жизни.

Подлинную свободу дает лишь служение истине. Пилат пытается спасти Христа не только потому, что верит в его невиновность, но и для того, чтобы сделать его орудием борьбы с иудейской монолитностью. Его уступка синедриону объясняется не обычной трусостью. Своей знаме-

нитой репликой — «А что такое Истина?» — Пилат признается в неведении высших ценностей, которые позволяют человеку превзойти самого себя. Он знает малые истины ловкого политика, допускающие компромиссы. Истина, которую несет Христос, абсолютна, она позволяет отличить Бога от Цезаря, вечное от преходящего. Принеся себя в жертву, Христос восстановил человека в своих правах, вернул ему право на свободу, которая неотделима от истины.

В конце романа взгляд на христианство, как на момент в истории культуры, предстает в ином ракурсе. Домбровский дает здесь слово не духовному эрудиту, а простому Яше. То ли ссыльный, то ли беглый, «божий человек», как зовут его окрестные рыбаки, Яша приходит к ним читать молитвы над покойниками. И в речах Яши звучат иные слова, появляются иные понятия: бессмертие души, общение живых и мертвых, идея Христа Искупителя — в примере с распятым разбойником, которого Христос прощает, как он простит любые грехи тому, кто покается хоть в свой смертный час, даже если это покаяние длится одно мгновение. Ибо если в Ветхом Завете Бог подчинен времени, в Новом Завете время для Него — не существует. Здесь концепция христианства приближается к теологии, чисто русской теологии, с явными намеками на Николая Федорова, которого Домбровский очень ценил и часто читал.

Что толкнуло Домбровского на эту сцену? Инстинкт романиста? Склонность к скрытым сходствам? Необходимость голоса из потустороннего мира в момент, когда Нейман, палач и к тому же

еврей, над которым нависла смертельная угроза, жаждет спасения души? Или же Домбровский почувствовал необходимость дополнить рассуждения отца Андрея: безжалостный мир террора взывает не только к прославлению «голого человека на голой земле», но взывает к Богу-Человеку верующих, к вере в загробную жизнь. Однако и в этом мистическом зове Домбровский остается рационалистом: чтобы покаяние было истинным, «нужен смысел», — как говорит божий человек Яша.

Из мрака своей камеры Зыбин не слышит ни размышлений отца Андрея, ни молитв Яши. Но проблемы эти ему не чужды: и он читал Сенеку; когда-то и он мечтал написать диссертацию об истоках христианства в античной психологии: и его интересует фигура Пилата. В одиночестве тюремного заключения, более того, в схватке с палачами, он переосмысливает для себя Слово из Тьмы — и главная идея романа открывается нам как история духовного восхождения.

Зыбин жил с открытым сердцем. Он любил радости жизни, женщин, детей, животных, водку, свою профессию. Он умен — хотя и наивен, скептичен — хотя и готов поверить в невероятное.

Когда угроза ареста становится реальной. Зыбина охватывает безумный страх, а сам арест погружает его в прострацию. Он ищет спасение от окружающего ужаса в снах, их десятки: сон-мечта, сон-бред, сон-явь Мысли о самоубийстве приходят ему в голову. В нем просыпается «пещерный медведь». Единственное, что ему остается, — отказ от сотрудничества с врагами. Ни

матерщина Хрипушина, ни елейные речи Буддо не в силах добиться от него признания вины — он не станет лгать ради спасения своей жизни. Во мраке, затмевающем его сознание, он сохраняет достоинство человека.

И однажды, во время ночного конвейера, пружина страха лопнула. Перед Зыбиным сидел молодой стажер в роли «будильника», и Зыбин прочел ему лекцию о методе пытки бессоницей, цитируя на память целые страницы учебника Инквизиции. И вдруг почувствовал «великую силу освобождающего презрения», презрения человека культуры к недоучке, почувствовал непреодолимую силу «думающего тростника».

И Зыбин начинает борьбу. Не за свою свободу, но чтобы разграбленная гробница не попала в руки НКВД, чтобы им не досталось археологическое золото. Таков поверхностный слой — в плане реальном. Но и внутренний слой, план символики, неотделим от жизненного ощущения героя, ибо античная гробница является достоянием общечеловеческой культуры, она сама история, а он — ее хранитель. Зыбин отстаивает истину, истину хранителя древностей, хранителя человеческой памяти. В этой схватке он также, но в своем масштабе, «чтит дело своей жизни больше самой жизни».

Конечно Хранитель не обладает рыцарским благородством, он хитрит, лжет, запутывает следователей, ведет себя нагло, иногда даже подло. Но когда очередной следователь, красавица Тамара пытается припереть его к стене, разрушая одну за другой придуманные им побасенки, священная ненависть, накопившаяся в нем, выплес-

кивается наружу. Он клеймит «сталинский путь к социализму», построенный на таком кровавом эмпиризме, от которого в ужасе отшатнулись бы «основоположники». Он поносит фальшь диктатуры, которая ищет себе оправдание в надвигающейся войне, в то время как именно сталинская диктатура «породила Гитлера». Он предсказывает междуусобную резню палачей, поражение тиранов и победу их жертв. Странные ассоциации звучат в этой речи: «Я отказываюсь признать вашу правду», или «Они сами не знают, что творят», как если бы Дух говорил в нем.

И обессиленный, он теряет сознание. Но он победил. Когда конвой, обеспокоенный повисшей трубкой телефона, входит в кабинет следователя, он застает непривычную картину: лейтенант Тамара Долидзе держит у себя на коленях разбитую голову бесчувственного узника, — издевательская Пьета!

Гибель Зыбина была бы естественной развязкой. Но — внезапный поворот — и Зыбина выпускают. Поспешная концовка? Однако, по свидетельству друзей, Домбровский переписывал последнюю главу пять или шесть раз. И в ней ключи к разгадке всего романа.

Первый ключ, самый простой: урок морали. Зыбин вознагражден за то, что не сдался. На все покаянные речи: «Я не мог поступить иначе» — Домбровский отвечает «защитой и прославлением» непризнания. Эпизод соответствует и личному опыту автора — он был действительно освобожден, правда на короткое время. Такой поворот подтверждается отчасти и исторической правдой

— не все арестованные подписывали возводимые на них обвинения. Он имеет и общечеловеческий смысл — бывает, что именно героическое решение оказывается самым разумным.

При более внимательном чтении мы обнаружим, что Зыбина спасло не только собственное мужество, а цепная реакция удачных совпадений: находка Нейманом украденного из гробницы золота; и — что важнее — новая волна арестов, необъяснимых, как и все декреты свыше, коснулась верхушки алма-атинских органов, и полетели головы. Чтобы найти видимое оправдание этим акциям, понадобилось кого-то освободить. Все равно кого. Выбор падает на Зыбина. Террор абсурден, даже когда он милует.

Выпущенный на волю, Зыбин оказывается на мертвой планете, где бродят тени прошлого: выставленный из органов Нейман и морально убитый своим предательством Корнилов. В этом опустошенном мире даже свобода потеряла всякий смысл. Это третий ключ.

Но есть и четвертый. Подвыпивший герой присаживается на скамейку сквера. К нему присоединяются Корнилов и Нейман. «Гениальный» художник Калмыков, «творящий для Галактики», запечатлевает на куске картона жалкого Христа и двух неказистых разбойников. И Домбровский поясняет: «Так на веки вечные остались эти трое», в то время как Земля «входила в затуманенные области» Зодиака. Роман как бы заканчивается злой насмешкой над самим собой.

И здесь, в одной фразе, как в музыкальной коде, автор сводит воедино три ведущие темы романа: тему террора («А случилась эта невесе-

лая история... »), тему Глашатая Тьмы (« в лето от рождения вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина — пятьдесят восьмое »...) и тему Глашатая Света (« а от Рождества Христова в тысяча девятьсот тридцать седьмой... »), — заканчивая произведение апокалиптическим аккордом: « чреватый страшным будущим год ». Это главный ключ, подтекст всего романа, его общечеловеческое значение: судьба России может стать уделом всего мира.

В потоке литературы о « сталинизме » эта необыкновенная книга, тревожная и огромная, как грозовое небо над казахской степью, прочерченное блестками молний, — возможно и есть тот шедевр, над которым не властно время.

---

**Катала, Жан** — родился в 1905 году во Франции. Журналист и переводчик. До 1940 г. — директор Французского Института в Таллине и пресс-атташе при Французском посольстве в Эстонии. В 1940 году присоединился к движению Де Голля и отказался вернуться в оккупированную Францию. В июле 41 года был арестован советскими властями, но, по ходатайству движения « Свободная Франция », в августе 42 г. — освобожден До 73 г. был корреспондентом в Москве французского коммунистического еженедельника « Франс нувель ». Переводил Шолохова, А. Толстого, Плеханова, Солженицына, Домбровского и Э. Кузнецова.

**Игорь Померанцев**

## СТАРИК И ДРУГИЕ

Этот роман ждали. Было интересно, что еще скажет Юрий Трифонов после «Дома на набережной», как скажет и дадут ли ему сказать. Казалось, в «Доме на набережной» писатель поставил все точки над «i». Если до этой повести он скрупулезно исследовал нравственное обмельчание своих современников и соотечественников, которых в программных документах официоза помпезно и напыщенно называют «новой исторической формацией — советским народом», то в «Доме на набережной» Трифонов горячо, почти не скрывая своих симпатий и антипатий, писал уже о нравственном вырождении этой «новой исторической формации», причем истоки этого вырождения видел не в пресловутых «пережитках капитализма» или во влиянии «враждебной западной идеологии», но в самих устоях советского образа жизни, в психологии партийной элиты. Уже через две недели после выхода в свет журнала «Дружба народов», где был опубликован «Дом на набережной», номер невозможно было достать, на черном рынке за него давали тридцать рублей. Так оценили его читатели. А как отнеслось к повести Правление Союза писателей и те, кто над ним? На этот раз хватило ума не подымать шума, не раздувать очередную травлю. Лишь на Съезде писателей критик В. Озеров вскользь заметил, что некоторые неудачи Юрия

---

«Старик». — «Дружба народов», 1978, № 3.

Трифонова скорее всего объясняются не профессиональными просчетами, но коренятся в мировоззрении, в идейно-философских взглядах писателя.

Казалось, Трифонов мог бы дать передышку своим поклонникам и своим скрытым и полускрытым врагам — к примеру, хоть ненадолго оторваться от столь облюбованных им шестидесятых и семидесятых, от своих жалких, мелких, трусливых и в то же время несчастных горожан, чаще всего москвичей, и выбрать какую-нибудь историческую личность, или углубиться, зарыться в какой-нибудь важный для будущего России исторический пласт... Быть может, взявшись за небольшой по объему роман об Октябрьском перевороте и Гражданской войне, писатель подсознательно и пытался хоть отчасти укрыться за историческим жанром. Не будем гадать, важнее, что получилось в итоге — ведь «Старик», роман о котором идет речь, в начале 1978 года увидел свет.

Скажу сразу: «Старик» никак не укладывается в рамки исторического жанра. И дело даже не в том, что у автора отсутствует академическое почтение к истории, граничащее со скукой, и не в том, что Трифонов умеет держать читателя в постоянном напряжении, так, что все происходящее в книге ты воспринимаешь как происходящее сейчас, на твоих глазах, с тобой, и, наконец, даже не в том, что роман построен на чередовании картин жизни, отгремевшей, отхлеставшей шестьдесят лет тому, и жизни сегодняшней, нынешней. Секрет актуальности и современности трифоновского романа заключается еще и в нас самих — это для нас революция и Гражданская война еще не стали — и слава Богу! — историей, темой для

исторических диссертаций и писателей, специализирующихся на сдувании пыли с призабытых эпох. Скажут : а разве Иван Грозный, Чаадаев, Пушкин, Достоевский стали для нас историей, музейными экспонатами, бабочками из коллекции ? Тысячу раз нет, и всё же : революция и все сопутствующие ей ломки, крушения, кровопролития и по сей день, как ничто иное, ставят всех нас, вне зависимости от возраста, перед ежедневным нравственным выбором : честно или бессовестно я поступаю, лгу ли я — пусть тем, что молчу, — или говорю — пусть с риском для себя — правду.

Нас с детства учили : революция и Гражданская — это час героизма и подвигов, час торжества сил света над силами тьмы. В школьном учебнике истории все красные полководцы и комиссары молодые и красивые, даже слегка одутловатый Блюхер кажется не действующим лицом истории, а киноактером, играющим роль героя. Почти все советские книги о двадцатых, как и школьные учебники, пышут пафосом героизма. А между тем, говорить о подвигах Красной армии, о ее победе — святотатство. В братоубийственной войне, в красном ли, белом, но всё равно кровавом терроре не может быть победителей и триумфаторов — есть только побежденные и жертвы, сотни тысяч, миллионы, весь народ. Вряд ли была в нашей национальной истории более страшная, более роковая година. Литератор, берущийся описывать октябрь семнадцатого и последовавшие за ним годы, если не умом, то сердцем должен понимать, что отваживается он на тему не героическую и романтическую, а на тему глубоко траги-

ческую. Видеть в мясорубке Гражданской героику должно быть просто стыдно. К несчастью, лишь немногие из советских писателей позволяли себе писать об этой эпохе не в темпе марша. Потому не только восхищаемся « Тихим Доном » или « Конармией », но и с благодарностью думаем об их авторах.

Когда-то Уильям Фолкнер, говоря о своих собратьях по перу, сказал, что Хемингуэй употребляет лишь такие слова, которые читателю не нужно искать в словаре. И впрямь, обновление слова — это дело поэтов, это дело Фолкнеров, а не Хемингуэев. Трагедия тоже под силу лишь поэтам. Я не об уменьи рифмовать : Достоевский не рифмовал, однако был Поэтом. Юрий Трифонов — прозаик, бытописатель. Это не упрек, это констатация. Он не может написать трагедию. Читая его, не нужно заглядывать в словарь. Трифонов не умеет обновлять слова, снимать с них кожуру. Но не будем упрекать писателя в том, чего он не может. У Трифонова есть свои достоинства : он тонкий психолог, он никогда не забывает — и нам не дает забывать, — что все поступки сопрягаются с совестью, с нравственностью, для него мотивация поступка не менее важна, чем сам поступок. У Трифонова прекрасная писательская память : он умеет воссоздать образ времени не конспективно, не эскизно, а подробно. Кажется, в повести « Другая жизнь » Трифонов вспоминает, что в начале пятидесятых в Одессе и курортах Крыма было почему-то принято гулять в пижамах. В моем семейном альбоме есть фотография отца : он стоит в пижаме, опершись на парапет, на фоне моря. В уголке фотографии как бы от

руки, очень кустарно, белыми буквами выведено : « Ялта. 1953 год ». Я вспоминаю эту фотографию не для того, чтобы придать лиризм своей рецензии, но чтобы показать, как срабатывает точная деталь, извлеченная писателем из заброшенного чулана времени. Когда укалываешься о такие детали — а Трифонов не скупится на них — когда узнаешь ужимки, гримасы, анекдоты, полублатные песенки своего детства, юности, то есть весь тот сор, из которого и вырастает литература, невольно начинаешь думать, что Трифонов — именно твой собеседник, именно ты понимаешь и чувствуешь его прозу, как никто иной.

Порой кажется, что для Трифонова главное — не дать исчезнуть времени бесследно, он борется в одиночку с тем, что в « Старике » он прямо называет « воронкой времени ». Отсюда же его чувство временной перспективы, его тяга к национальной истории и к истории вообще. Это бремя Истории несет не только сам Трифонов, автор « Нетерпения », романа о народовольцах, но и его герои : Гриша Ребров из « Долгого прощания », дачные говоруны из « Старика ». Истоки нас сегодняшних Трифонов пытается найти в прошлом. Всё. что он фиксирует, имеет две проекции : сегодняшнюю, сиюминутную, и историческую. И вот, что важно : в отличие от писателей, противопоставляющих интеллигенцию крестьянству, видящих лишь в крестьянстве народ, Трифонов ищет и находит Отечество не в географических или этнографических рамках, а прежде всего в духовной истории нации, в ее культуре. А единица Истории для него — не класс, не сословие, не прослойка. но индивидуум, человек, каждый из

нас. Конечно же, это не классовый подход, который должно иметь советскому писателю. И прав был высокопоставленный чиновник от литературы, упрекнувший Трифонова на Съезде писателей в ущербном мировоззрении. Только на самом деле эта ущербность — главное достоинство писателя.

В «Старике» Трифонов остается верным себе: он мыслит не массами, не железными потоками, не будёновцами или деникинцами, а отдельными людьми, и главным для него остается ценность человеческой жизни. Именно она, эта жизнь — остается критерием справедливости. Тем, кто навешивает, как трифоновские красные комиссары Браславский, Шигонцев, Орлик — ярлыки на людей, на их поступки и эмоции, кто мыслит придуманными, изобретенными категориями «контрреволюция», «бонапартизм», «партизанщина», «эсеровщина», тот не видит живого человека, хотя прикрывается самыми гуманными лозунгами, тому ничего не стоит страстным и властным голосом отдать приказ: «Вырыть общую могилу для заложников!» Ведь заложники для него не отдельные люди, а контрреволюция. Но когда спадает накал, проходит угар, гаснет пыл, тогда поименно мертвые взывают к твоей совести, а революционеры превращаются в обыкновенных преступников, палачей своего народа. Трифонов — наш современник. Он стыкует в романе революционные события с тем самым «светлым будущим», ради которого вершат свой скорый и неправый суд ревтрибуналы. Писатель за руку подводит нас к семидесятым и тычет носом в какую-то возню то ли за дачу, то ли за жалкую пристройку, которая к тому же обречена на снос, и

нет у наших современников ничего желанней этой дачи на курьих ножках, и за нее готовы они горло друг другу перегрызть. Так вот это и есть светлое будущее, ради которого столько раз луженые глотки орали : « Пли ! »

Поначалу кажется, что Трифонов, стыкуя двадцатые и семидесятые, безусловно отдает предпочтение легендарным событиям исторических лет. Повествование то и дело ведется от первого лица, от « я » старого большевика Павла Евграфовича. Такова уж наша читательская доля : всегда сочувствуешь этому самому « я », глядишь по воле автора на мир глазами этого « я », думаешь его мыслями. Трифонов — профессионал высокого класса. Он делает с нами, читателями, что захочет. Где-то к середине романа неожиданно замечаешь : юноша Павлик, старик Павел Евграфович, с которым мы едва ли уже не породнились, чьих детей и родичей мы осуждаем и презираем, — сам монстр, которому его близкий друг, не отравленный революционным угаром, советует еще в девятнадцатом : « Я б на твоем месте застрелился ». Впрочем, у Трифонова это сказано почти мимоходом, как и то, что в середине двадцатых Павел проводит чистки, как и то, что пытается купить Асю, в которую он так страстно и романтично влюблен, за ее свидание с мужем, красным командиром Мигулиным, находящимся под следствием, как и то, что в довершении ко всему Павел на вопрос следователя в 21-ом году о возможности участия в контрреволюционном мятеже Мигулина, искренне боровшегося за « Советскую власть, но без комиссаров », отвечает : « Допускаю ». Мелкие, взбалмошные, истеричные дети

Павла Евграфовича оказываются ягнятами в сравнении со стариком. Конечно, у Трифонова, избегающего прямых ходов и решений, все это как-то смазано, размыто, но ведь только в плохих книгах мир поделен на черное и белое, на злодеев и ангелов... Не из благородства и честности, как кажется поначалу, Павел Евграфович уже в преклонном возрасте собирает материалы о расстрелянном командире Мигулине и добивается его реабилитации, а во искупление грехов своих, во очищение души. И чем чаще мы вместе с ним погружаемся, окунаемся с головой в прошлое, тем очевидней становится, что это прошлое нужно сравнивать не с уже приевшимися всем « очистительными бурями », « революционными грозами », « буревестниками », а совсем с другими стихийными бедствиями. « Саранча пожрала... Жабы нечистые... » — этот полубред попика, одной из безвестных жертв террора, лишь на минуту появившегося в романе, — много более точная метафора революции. Слово « буревестник » в переносном смысле тоже не забыто в романе : « Буревестником » назван дачный коллектив. Вот что осталось от романтики : бескрылый буревестник, нелепое женское имя Мюда, образованное от Международного юношеского дня... В « Доме на набережной » какой-то промелькнувший безымянный персонаж хватается за голову, увидев под вывеской « ШКОЛА » аббревиатуру ЛОНО, которую расшифровать не так уж сложно : ленинградский или ленинский отдел народного образования. Это тоже трифоновская метафора : все самое живое, саму жизнь, наследники Шигонцевых и Браславских пытаются сократить, низвести до аббревиатуры.

В романе «Старик» есть еще одно действующее, точнее, бездействующее лицо. Я имею в виду то душное лето в середине семидесятых, в которое разворачиваются все события. Где-то за Москвой горят леса, горит торфянистая почва. От этих пожаров небо на горизонте нестерпимо багровое. От жары, от запаха гари некуда деться. Все мучаются одышкой и удушьем. Не спасают сады, мансарды, холодный душ. Трифонов не случайно выбрал именно такой воздух для своего романа. Горит, спекается последнее лето старика, догорает, скрючивается его жизнь, вместе с ним догорают его надежды, его страсти ,его воспоминания, его грехи. И заодно с трифоновскими героями начинаешь сам ощущать удушье, и невольно твоя рука тянется к верхней пуговке ворота. Так жить нельзя. Так можно задохнуться. Это понимаем мы сами. Об этом говорит нам Трифонов. А как же нам жить? Это нужно спрашивать не у писателя. Это каждый из нас должен спросить у самого себя и постараться найти ответ.

ЧИТАЙТЕ:

**ПАМЯТЬ**

ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Выпуск 2

Москва 1977 ● Париж 1979

## Письмо из России

**Лев Копелев**

# СОВЕТСКИЙ ЛИТЕРАТОР НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

— Нет-нет! Будьте снисходительны! Поймите же, он просто одурел. При всех талантах, он ведь глубоко невежественный и невоспитанный: от «Краткого курса истории ВКП(б)» сразу же перескочил к Катехизису. И при всем том — доверчив, поддается влияниям... Там, в европейских джунглях, ничего толком не зная о Западе, он доверяет всем, кто его одобряет, пугается всех, кто ему возражает. Вот с перепугу и обозвал носорогами..

Давний приятель В. Максимова.

— Он пишет, что его вдохновили «Носороги» Ионеско, но по всему видно, что он ничего не понял из пьесы: просто исказил метафору... Но журнал он делает хороший... Правда, колонки редактора бывают и пошловаты, и карикатурно претенциозны. Однако всё же немало интересных публикаций, есть отличная проза и настоящая поэзия...

Постоянный читатель «Континента».

— Не надо на это обращать внимание... Ну и пусть это ниже всякой критики, пусть даже непристойный пасквиль. Но Володю надо пожалеть! Нельзя принимать всерьез проявления душевной неуравновешенности. Он столько страдал! А там все эти эмигрантские склоки..

Писательница, всегда любившая Максимова.

— Нет, напротив, к этому необходимо отнестись очень серьезно. Он хамски поносит «розовых» интеллектуалов, то есть, по существу, — либеральных и демократи-

ческих интеллигентов. И вы подумайте, кому нужны, кому на пользу оскорбительные нападки на людей, известных как верные друзья Сахарова, покойного Кости Богатырева и многих других москвичей, ленинградцев и пражан — тех самых, которых у нас честят отщепенцами, идеологическими диверсантами?.. Да были ли у него когда-нибудь стыд и совесть?..

Участник правозащитной группы.

(Из московских разговоров)

## I

Феномен «Максимов-публицист» необходимо понять в его развитии, чтобы противопоставить понимание тому вреду, который приносит и сам «феномен», и обращенная против него односторонняя, пристрастная критика.

С Владимиром Емельяновичем Максимовым я был знаком мало, встречал его не часто, никогда не сближался, но всегда высоко ценил его рассказы и повести. И сегодня его художественный дар для меня так же несомненен, как и его способность к благородным душевным порывам, как искренность его стремлений патриота и правдоискателя.

Однако, более чем сомнительны его проповеднические претензии. Они повредили уже некоторым страницам в «Семи днях творения» и всему «Карантину», а в публицистике, в речах, в интервью — эти претензии становятся нестерпимы.

Как объяснить такое противоречие?

В «Прощании из ниоткуда» Максимов рассказал о своем тяжком детстве и юности, о том, как он оказался в обществе блатных и приблатненных. Живые силы души и недюжинная воля помогли юноше вырваться из-под власти совет-

ского «мертвого дома». Но.. там он прошел школу того нравственного воспитания, которое на подсознание иногда воздействует значительно сильнее, чем на сознание.

Когда молодой поэт и прозаик Максимов начал публиковаться в районной газете, а потом в областных изданиях, его учителями-наставниками и воспитателями в политике, литературе, эстетике и этике стали комсомольские и партийные работники, редакторы, журналисты. Вероятно, и среди них были хорошие, добросовестные, бескорыстные и умные люди, искренние в своих убеждениях... Тем прочнее усваивал он — впечатлительный литератор — общую для той среды мораль «боевитой партийности».

Талант проложил ему дорогу в Москву; его дружелюбно приняли настоящие писатели, его произведения хвалили серьезные профессиональные критики. Его окружила новая среда — столичные интеллигенты, полуинтеллигенты, симулирующие интеллигентность пижоны, искренние и сомнительные друзья, поклонники и завистники.

Он быстро привыкал к признанию, к успеху и славе. Со временем они уже казались недостаточными, несоразмерными его действительным свершениям. В ту пору он легко перешел от либеральных «Тарусских страниц» в яростно антилиберальный «Октябрь». Но хвалили его критики всех направлений.

Десять лет тому назад мне пришлось несколько раз и от разных людей услышать: «— Наш Володя куда выше вашего Солженицына: он-то уж настоящий, народный...» Нарастала популяр-

ность, а с нею вера в себя, в чудесность, необычайность своей судьбы.

## II

...В то же самое время в Москве, в стране происходили события, которые многими воспринимались, как предвестия великих потрясений и перемен.

Закончилась «эпоха позднего реабилитанса» Судили Бродского, потом Синявского и Даниэля. Поговаривали о реабилитации Сталина. В газетах и с партийных трибун травили «Новый мир» и Солженицына. В Чехословакии наступала «Пражская весна». В Москве судили Гинзбурга и Галанскова, потом Марченко... Выступали первые застрельщики «демократического движения» — Есенин-Вольпин, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, генерал Григоренко, Павел Литвинов, Анатолий Якобсон, Иван Яхимович... Академик Сахаров опубликовал свой первый меморандум. Открытые письма в защиту преследуемых и политзаключенных писали Л. Чуковская, Г Владимов, В. Войнович, В. Корнилов и сотни «подписанцев» — научные работники, рабочие, служащие, студенты. Советские танки ворвались в Чехословакию, чтобы раздавить призрак «социализма с человеческим лицом». Семь молодых людей вышли на Красную площадь, чтобы протестовать против вторжения. И снова шли аресты и суды, и снова писались письма протеста...

В те годы и Владимир Максимов круто повернул свою жизнь: он пришел к Церкви. И проникся убеждением, что история человечества и современная действительность воплощают лишь извечную непримиримую борьбу двух метафизических сил — Добра и зла, то есть — Бога и дьявола. А любые попытки диалектически или релятивистски толковать эту борьбу, любые «примиренцы», «соглашатели» или «промежуточные», «третьи» силы суть более изощренные ипостаси того же зла.

Воодушевленный сознанием, что теперь он владеет единственно сущей, абсолютной истиной, он еще беззаветней поверил в себя, в непреложную справедливость своих суждений, приязней и неприязней. Он почувствовал себя воином духа, ратоборствующим за возрождение священных тысячелетних традиций. Но, воодушевляемый новой верой, новым самосознанием, он не замечал, что сохраняет многие особенности восприятия общественной жизни, присущие именно тому миру, который он отверг и проклял.

Наглядный пример этого — « Сага о носорогах ».

## III

Мораль блатных определяется воровским законом. Он прост : хорошо всё, что полезно тебе, твоим « корешам », и что вредит « гадам » (т. е. начальникам и « сукам » (т. е. изменникам).

Мораль профессиональных идеологов, « боевитых » журналистов и теоретиков социалистического реализма определяется законами « большевистской партийности » : хорошо всё, что полезно партии, государству, рабочему классу, родному коллективу и всё, что вредит классовым врагам — империалистам, ревизионистам и др. и пр.

Мораль блатного во многих случаях сравнительно легко преобразуется в мораль большевика. Но и ту, и другую может унаследовать иной раскаявшийся грешник, обретший истину в церкви, в синагоге, в костеле или в мечети...

Настоящие большевики — ленинцы и сталинцы — были убеждены, что владеют единственно возможной истиной, и отстаивали свою правоту так же яростно, как фанатики всех времен и

религий. Менялись знамена и лозунги, но жестоко враждовавшие между собой фанатичные сторонники разных церквей часто оказывались родственно похожи — «враг на врага».

«Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах» (Н. Клюев). «Что менялось? Знаки и возглавья... В комиссарах дух самодержавья, взрывы революции в царях...» (М. Волошин).

Откровенные циники-прагматики чистосердечно безнравственны: они знают, что «никакого пульса нет» и смеются над наивностью моралистов. А фанатики, искренне верующие в религиозные или политические идеалы, часто убеждены, что в них уже заключены основы законодательства и что высокие цели оправдывают любые, даже низменные, средства. «Идеалистическая безнравственность» бывает даже опаснее циничной, потому что не сознает себя.

Философские или политические взгляды меняются иногда быстро. Атеист становится верующим, консерватор либералом, или наоборот. Но эмоциональное отношение к окружающему миру, к *своим* и *чужим*, художественные вкусы, представления о красоте и уродстве неизмеримо прочнее. Характер и психологический склад остаются как правило теми же при любых сменах идеологий. И если меняются, то лишь медленно, с трудом...

В устойчиво патриархальных и в тоталитарных обществах даже те, кто никогда не исповедывал господствующую идеологию, кто ненавидел ее законоучителей и жрецов, оказывается нередко зараженным их навыками и нравами. Герцен — приятель парижских и лондонских революцион-

ных плебеев — до конца жизни оставался московским аристократом. Сталин и в подполье, и в гражданской войне, и на вершине самодержавной власти не утратил риторические приемы, елейное коварство и хамскую грубость провинциального семинариста.

Нечто подобное в наши дни можно наблюдать у многих убежденных противников сталинизма и ленинизма. Притом, чем радикальней, фанатичней их новые взгляды, тем прочнее они сохраняют многие особенности мировосприятия и нравственного сознания — вернее, подсознания, — усвоенные в советских школах и учреждениях. Как истинные большевики, они презирают, а то и ненавидят « гнилых либералов », « абстрактных гуманистов », « жалких соглашателей », так же убеждены, что « кто не с нами, тот против нас », и так же грубо поносят несогласных с ними, и всегда готовы подозревать в них злокозненных агентов врага.

## IV

Парадоксальное сочетание в одном сознании радикальных антисоветских взглядов и глубоко советского мироощущения определило и трагедию Владимира Максимова; именно трагедию, потому что он, будучи исполнен *благих* намерений, совершает *дурные* поступки.

Трагически безнадежны и его стремления развивать публицистические и сатирические традиции русской литературы. Полемические приемы, задор и патетика « Саги » в равной мере чужды и « Колоколу », и « Дневнику писателя », а сатирические ужимки охотника на носорогов так же

далеки от Щедрина, как и от А.К. Толстого. Зато « Сага » и « колонки редактора » по-родственному напоминают подвалы А. Софронова « Наяву и во сне », а по литературному стилю и по уровню полемики им всего ближе фельетоны Д. Заславского, статьи Кочетова или Грибачева.

*Субъективно* В. Максимов стремится ниспровергнуть метафизическое зло коммунизма, отстоять достоинство России, вразумить невежественных туземцев дикого Запада, которые не понимают, как опасны для них свобода печати, ужасы плюрализма и недостаточное почитание единомышленников и покровителей Максимова.

Но *объективно* он более всего помогает советской пропаганде и западным сталинистам. Он вооружает их аргументами и наглядными пособиями : вот он каков, наш идеологический противник, которого великодушные советские власти отпустили на все четыре стороны, вот его подлинное лицо яростного врага демократии и либерализма : несогласным он злорадно сулит кольца в « носорожьих ноздрях » и « следственные стойла » !

*Объективно* максимовская публицистика приносит наибольший вред ему самому, его друзьям и доброжелательным читателям, которые не могут разлюбить его художественное творчество. Немало соотечественников здесь и за рубежом от души жалеет непутевого, но талантливого, неисправимо советского, но « взыскующего истины » литератора, так безнадежно заблудившегося в политических джунглях Запада.

К их числу принадлежу и я. Однако злополучная « Сага » вынудила меня написать « объясни-

тельную записку» — это тревога, что кто-нибудь поверит, будто подобные сочинения представляют дух современной русской интеллигенции. Нет, такой фанатический максимализм для России не более характерен и в русском обществе не более влиятелен, чем любой «правый» или «левый» экстремизм во Франции, в ФРГ или США. И такая публицистика не может содействовать духовному и нравственному обновлению и оздоровлению нашей страны: это лишь вывернутая наизнанку сталинская идеология нетерпимости. Мертвые хватают живых.

Но мы хотим верить, что жизнь преодолеет.

---

**Копелев, Лев Зиновьевич** — родился в 1912 году Критик, литературовед, писатель. В СССР приобрел широкую известность своими исследованиями о западной литературе. Брехте, Томасе Манне, Ремарке, Кафке и др. Участник Великой Отечественной войны. Много лет провел в сталинских лагерях. После выхода из лагеря в 1954 г. Копелев вступил в общественную жизнь, добиваясь реабилитации для многих деятелей культуры, амнистии для политзаключенных, выступая в защиту опальной советской интеллигенции. За общественную деятельность был исключен из партии, изгнан из Союза писателей СССР и лишен работы.

## СОДЕРЖАНИЕ

*От редакции* . . . . . 3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

*Эдуард Кузнецов.* Хэппи энд . . . . . 4
*Абрам Терц.* Очки . . . . . 31
*Е. Эткинд.* Наука ненависти . . . . . 42
*Б. Шрагин.* Синдром «нормального человека» . . . . . 61

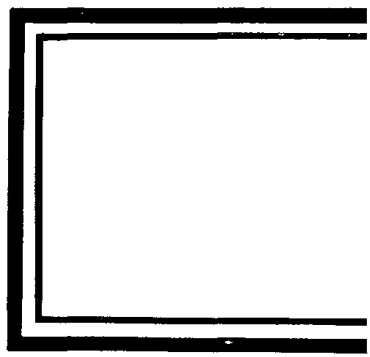
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

*Игорь Померанцев.* Читая Фолкнера . . . 88
*Жан Катала.* Слово из тьмы . . . . . 125
*Игорь Померанцев.* Старик и другие . . . 143

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

*Лев Копелев.* Советский литератор на Диком Западе . . . . . 152

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 20 фр. франков.
Подписка в редакции на 4 номера — 70 фр. фр.
Пересылка за счет подписчика.

P I U F 3, rue du Sabot. 75006 — PARIS